

с (Тур)
у-49

ISSN. 0130. 531X

УЛУГ-ХЕМ

25 1989

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ



УЛУГ·ХЕМ



Литературно-художественный альманах

Основан в 1946 году

В номере:
Памяти жертв необоснованных репрессий

С. ШЮРБЮ, Л. БАТУРИНА, Ю. ВОТЯКОВ, Л. САНЧАЙ. Стихи.

М. ПАХОМОВ, А. ЗАХАРОВ, П. БОСЕНКО, В. БУЗЫКАЕВ, Ш. СУВАН. Проза.

Стихи

М. КЕНИН-ЛОПСАН, А. ДАРЖАЙ, И. ДУБНИКОВА, К. БИЖЕК, Н. КУУЛАР, Э. ЦАЛЛАГОВА, Г. ПРИНЦЕВА, Ч. ДОРЖУ, В. КАН-ООЛ.

Драматургия

К. ЕМЕЛЬЯНОВ.

Для маленьких читателей

С. ТЕРСКИЙ, М. ОЛЧЕЙ-ООЛ.

Сатира и юмор

В. ТИМОФЕЕВ, Е. АНТУФЬЕВ.

Воспоминания

М. ЧЕРНОУСОВА-САРЫГ-ООЛ.

ТУВИНСКОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
КЫЗЫЛ — 1989

Редакционная коллегия:
А. А. ДАРЖАЙ, С. В. КОЗЛОВА (редактор),
Ю. Ш. КЮНЗЕГЕШ (ответственный редактор),
Г. И. ПРИНЦЕВА, М. А. ХАДАХАНЭ.

Редактор издания
В. А. Бузыкаев.

Сергей ПЮРБИУ

ПРИЗНАНИЕ

Если теперь не признаться мне в этом, —
можно ведь просто смолчать, позабыть, —
как я смогу оставаться поэтом,
как я о правде смогу говорить?
Нет, ни смолчать, ни забыться не в силах.
Голосу совести не затихать.
Дума о будущем так рассудила,
трудная дума о новых стихах.

Сердцем поэта рожденное слово,
стих или песня — я думал о них:
не примирятся со сделкою новой,
гордые, чистые, словно родник.
Чтобы с людьми соглашаться иль спорить,
нужно идти к ним с открытой душой.
Прошлого накипь в таком разговоре
будет поэту помехой большой.

Вот что сегодня волнует мне душу,
вот почему мне молчать не дано:
вновь о годах вспоминаю минувших —
тех, что историей стали давно.
В памяти не позабылось, не стерлось
прошлое это — как сумрачный день —
время, когда над страной распростерлась
Сталина непомерная тень.

Как она часто стесняла, давила
умное слово, крылатую мысль!..
Но не смогла задержать, не сломила
поступь народа — он шел в Коммунизм.

Нет, ни смолчать, ни забыть я не в силах,
голосу совести не утихать.

Дума о будущем так рассудила,
трудная дума о новых стихах.

Песенной славы порывом охвачен

в трудные годы — опять и опять —
славил я — так же, как все, не иначе, —
то, что не надо бы воспевать.

Все, что народ мой задумал и сделал,
что он построил и завоевал, —
все я приписывал Сталину смело,
только его одного воспевал.

Знаю теперь: пусть любые невзгоды —
нет у поэта другого пути:
только с народом, в ногу с народом,
вместе дорогою правды идти.
Не отступая от правды суровой,
только ему одному посвятив
каждую строчку и каждое слово,
всю свою жизнь — не минутный порыв.

ЛЕНИНСКАЯ ПРАВДА

Мы поднимали Родину из пепла
двух войн.
И вот она вдвойне окрепла.
Создав трудом цветения весну,
мы в нем познали счастья глубину.
Хлеб убирая и вода составы,
мы, распрямив усталые суставы,
пот утирая,
силы честно тратя,
о правде думали —
не о зарплате.

Но наша жизнь в те годы так прошла,
что глубоко в душе остался шрам.
Что ж, годы новые теперь пройдут
и этот шрам разглядят и сотрут.
Другое поколение будет жить
и многое дано ему свершить.
Пусть всю узнает правду —
до конца:
как культ калечил души и сердца.

Кто взял за меру жизни лишний час,
тот, испугавшись, и отца предаст,
а подхалим себя продать способен,
лишь бы высокой угодить особе.
Кто злобнее завистника и мельче?
Не сердце у него в груди —
ком желчи,
когда удача друга посетит,
то у него как в горле кость сидит.
У кляузника — пузырек чернил
живое сердце вовсе заменил:
кольнул пером,
чернилами плеснул —
а глядь,
и человека захлестнул.

В те годы наглое отродье это
все честное старалось сжить со света.
Умы от славословий угорели,
сердца от подозрений леденели.
Родные, близкие, и те с оглядкой
дружили, жили при таких порядках,
сквозь чуткий сон ловили с недоверьем
ночные шорохи, шаги за дверью.

«Вредитель», «враг народа» — ярлыки
наклеивались, правде вопреки.
Власть произвола на людей давила.
Потерь тогда у многих
много было.
Свободу, силу, молодость и семью
теряли, расставались с жизнью всею.

Но долгими, ужасными годами,
перенося безмерные страданья,
все потеряв,
одним лишь люди жили —
и бережно, как жизнь свою, хранили
то, что для них дыханьем,
сердцем стало —
их ленинская правда согревала.

Она погибнуть людям не дала,
надеждой, верой —
всем для них была.

На небе тучи солнца не закроют —
сияет солнце правды над страной.
Вовеки правду кривда не убьет —
нас к цели правда Ленина ведет.

Наступит время — на закате дня
навек оборвется для меня
путь жизни долгой.
Каждый в мире тленен...
Мой вздох последний
будет слово: Ленин.



Любовь БАТУРИНА

ВЕРИЛ, РОДИНА, ТЕБЕ!

Командарму гражданской войны
Василию Константиновичу Блюхеру

Он верным Родине остался...
И, став под дуло на расстрел,
тебе, как прежде поклонялся
и верил в светлый твой удел.

И вражья клевета глухая
тебя из сердца не взяла,
и как была ты дорогая,
так и осталась навсегда.

И, обвинение в измене
приняв, как роковой удар,
он верил, Родина, тебе лишь
и от тебя защиты ждал.

Кусты рябин уральских рясных
шумят, зовут в краях родных...
Ты, Родина, рябиной красной
была с ним рядом в смертный миг.

Прошли года... Безвинно павших,
ты помнишь их, Отчизна-мать.
Велела ты: легендой ставших
и впредь героями считать!



ПОЛЕ КУЛИКОВО

За рекой Непрядвой
конь ушами прядает,
в поле Куликовом —
русские полки...
Поле Куликово —
сироты да вдовы,
сироты... да вдовьи
черные платки.

За рекой, за Доном
бились батальоны,
батальоны бились,
побеждая смерть.
А над полем боя
вороны кружились,
вороны кружились...
Да боялись сесть.

Я живу оттуда.
За меня сражались
там — на поле брани —
мой отец и дед.
За меня в Рязани
плакала тальянка.
За меня Фадеев
лег на пистолет.

Как же я забуду
имена и лица?..
Там, вдали, клубится
памяти клубок.
И пусть мне приснится
золотая птица,
но в чужие страны
я б за ней...
не смог.

За рекой Непрядвой
конь ушами прядает,
в поле Куликовом —
красная стерня.

Поле Куликово —
сироты да вдовы...
Сироты да вдовы —
Русская земля.

□

Людмила САНЧАЙ

ПРАВДА И ЛОЖЬ

Ложь прошептала :
«Ты самую лучшею стала!..»
Правда молчала.

Ложь говорила :
«Собою ты мир озарила!..»
Правда молчала.

Ложь возмутилась :
«Напрасно тобой восхитилась!..»
Правда молчала.

Ложь хохотала :
«Дурнушки такой не видала!..»
Правда молчала.

Ложь рассердилась :
«Поганкою ты уродилась!..»
Правда молчала.

Ложь замахнулась :
«Да чтоб ты, уснув, не проснулась!..»
Правда молчала.

Ложь разъярилась :
«Вон смерть за тобою явилась!..»
Правда молчала.

Ложь разрыдалась :
«Что с душенькой... (в ад ее!)... случилось!..»
Тут Правда вскричала :

«Цыц, злая сила!
Не смерть ее — ты подкосила!..»
Ложь замолчала...

□

КРЫЛЬЯ

Люди духом железным зовут неподкупную силу,
ту, что в тяжкие дни костыли,
словно дар, подносила:

— Если слабая ты,
пренебечь подношением можешь.
Коли сильная — встань, обопрись!
Боль, как вещь, не отложишь...

— Ах, какой парадокс: брать костыль —
когда сильным зовешься!..

Ну, а если — слабак?
От желанного, что ль, отвернешься?

— Да! Секрет тут простой:
сильный битым предстать не боится.
Костыли, как клеймо: «неудачник»,
«червяк, а не птица»...

Слабый выбросит их —
он же истины не переносит,
ведь недаром она за бессилье
страдания просит.

Только знай, что и беды, и горе —
долги не для слабых...

Вот тебе костыли.
Ты от них отказаться могла бы?

— Ох, конечно же, нет! Дай мне их поскорее!
Буду с ними душою светлей,
да и сердцем добрее.

Пусть послужат они изнемогшей
и долго, и верно...

Тут — Надежда на взлет,
здесь — в удачу упрямая Вера...

Послужили они. И однажды
бесследно пропали.

Я встревожилась, было, но песни
в дорогу позвали,—
поспешила я к ним и...

от радости бег задержала:
«Костыли... Нет уже костылей!..»
Я без них побежала!..

А теперь за плечами
шуршат мои легкие крылья.
И в полете своем
я простейшую тайну открыла :
в Устремленность к высотам
надежда моя превратилась,
и Удачи крылом вера трепетно
вширь распустилась.

В ОТЧАЯНЬЕ

Я довольна сегодня :
никем не любима...
Торжествую весь день :
не люблю никого!..
Так светло на душе
и легко нестерпимо,
что готова прожить
безо всех и всего...

Чувства горькой вины
я отныне не знаю,
не откликнусь теперь
на чужую беду!..
С упоением диким сейчас
вспоминаю,
как мне плюнули в душу
у всех на виду...

Только... разве прожить
без детей моих милых?
И неужто друзей ни за что
оттолкну?..
Чтоб обида моя свет любви
не затмила,
превращу ее в пыль и —
платочком смахну...

□

П р о з а

Михаил ПАХОМОВ

ВРАГИ

(Из повести «Верность»)¹

...После здорово нашумевшего на всю республику открытого судебного процесса над группой бывших высоких чиновников, сначала несмело, но потом все сильнее стали носиться зловещие слухи о том, что то там, то тут вдруг разоблачались враги народа. Их немедленно прибирали к рукам органы МВД Тувинской Народной Республики.

Как-то рано утром в кабинет Зазнобина, не успел он еще взяться за служебные дела, открылась дверь, и в нее с причетом и обильными слезами на густых ресницах ворвалась Ульяна Сергеевна. Не поздоровавшись, прямо с порога прорыдала:

— Дмитрий Иванович! Ночью к нам на квартиру... явились какие-то трое эмвэдэшников и... и спешно увели с собой моего Колю-у-у!

Зазнобина это ошеломило: как так?! Уж Ядрошников ли не бился за свободу народа и в Монголии, и здесь, в Туве?

— Да что ты говоришь-то, Сергеевна?— спросил в тревоге, по-свойски называя жену друга.— Куда увели? Почему?

— Я только что из МВД,— в глубоком волнении, вздрагивая, ответила Ядрошникова.— Спрашивала, куда они девали моего мужа. На шум в коридоре вышел ихний главный советчик, товарищ Рогов, и сказал: «Не волнуйся. Иди домой и не шуми тут! Его на днях будут судить. Ясно? Так что помалкивай пока». Так и отрезал!— закончила мать четырех девочек и в изнеможении опустилась на спинку кресла, безутешно рыдая.

Зазнобин не знал, что делать. Ему хорошо было известно, что ее мужа в свое время за боевые заслуги в борьбе против белогвардейцев Кайгародова, свирепствовавших в Монголии,

¹ Гонорар автор передает в фонд строительства памятника жертвам сталинских репрессий (прим. ред.).

Почетной грамотой наградил сам сподвижник легендарного Сухэ-Батора — Хас-Батор; было известно и то, что Николай Илларионович Ядрошников по прибытии в Туву активно воевал против белогвардейцев в партизанском отряде Сергея Кочетова, затем был советником в штабе Народно-революционной армии Тувы, а последние годы работал переводчиком в монгольском полпредстве в Кызыле.

На днях монгольского полпреда Чамзырая уж слишком спешно и под усиленной охраной выпроводили домой. А теперь вот и его переводчика из аппарата полпредства взяли.

— Успокойся, Сергеевна, ради бога! Иди домой. Я сейчас же пойду в наше полпредство, к самому Владимиру Владимировичу. Товарищ Малков, надеюсь, в обиду его не даст! Потом я к вам сразу же загляну и расскажу обо всем.

Но что-либо выяснить о судьбе Ядрошникова не удалось, и Зазнобин, опасаясь, как бы еще сильнее не огорчить Ульяну Сергеевну и ее милых дочурок, от визита к ним воздержался. К тому же у него как председателя Комитета советских граждан Кызыла появились неотложные дела.

...Дмитрий только что поднялся с постели. Лучи похолодевшего, но еще яркого тувинского солнца по-осеннему тихо стучались в смотревшие на восток оконные стекла. Марина, подоив и отогнав в общественное стадо Чалуху, в полуподвальном закутке, где была у них кухонька и столовка, готовила завтрак.

Дети, слышно было сквозь дощатую перегородку, нарочито звонко перекликались.

Вдруг он услышал, как снизу, из кухни, донесся негромкий голос хозяйки дома:

— Мить! Вставай, гость приехал!

— Что там за гость в такую рань? — ласково откликнулся Дмитрий. — А ты посылай его сюда, пушай поднимается, чего ему торчать у тебя на кухне-то! — предложил он и начал торопливо одеваться.

— Да гостенек-то што-то к тебе не хочет. Спускайся-ка сам! — с легким смехом ответила Марина.

— Здравствуй, здравствуй, братишка! Чего это в такую рань тебя принесло? — спустившись, приветствовал Дмитрий нежданного гостя. — Неужто прямо из своего Тургена, или, может, переночевал здесь у какой-нибудь зазнобы?

— Нет, только што пехом притопал да прямо к вам, — виновато улыбаясь, ответил парень.

— «Пехом», говоришь? А чего ж отчим-то Пегаша свое-

го не дал? Пожалел, небось, сквалыга! Ведь дорога-то до города на полсотни верст, ежели не больше. Шибко устал?

— Да не из Тургена я,— грустно, с тяжелым вздохом ответил Вениамин. Лохматую ушанку, сшитую из собачьей шкуры, изрядно поношенную, держал в руке, его «под орех» остриженная лобастая голова обреченно качалась.

— Я шть вот уже месяц как в Кара-Булуне,— признался парень,— за фулиганство схлопотал... А теперь к тебе вот. Советуй, как мне быть: ты ведь городской, да и большой начальник, законы-то, должно, знаешь.

Приглядевшись внимательно к гостю, Зазнобин попросил Марину подняться наверх, к ребятишкам: ему не хотелось, чтобы братишка при ней рассказал — догадывался уже — про что-то особенно неприятное.

Когда хозяйка удалилась, Вениамин, присев на табуретку, поведал брату удручающую историю.

— Принудчики мы — я и ишо два напарника из колонии, как говорится, друзья по каторге,— повествовал юноша сквозь слезы, поднявшись с табуретки, будто перед высоким начальством: его гладко остриженная голова подпирала потолок кухни.— Работали мы в Тоора-Хадыне на мельнице, муку для колонии готовили. Были расконвоированы. А вчерась, ты ведь знаешь, было воскресенье. День нерабочий. И мы вместе с другими мужиками участвовали в «помочи» — в достройке избы у одного крестьянина. Ну, под вечер он вместо платы за работу приподнес помочанам обильную еду да немало и браги. Вот мы и укатосались, как суслики!

Потом известно чо, поссорились! Мои «дружки» напали на меня, и я им наподавал! Но это ничего бы. Да я в речку их посбросал. Она там, правда, такая, што и курица не утонет. Ты же ведь знаешь! Одумался потом уж: за это и посадить могут, уже как злобного фулигана! Там доказывай, што один-то из их, тувинец, угрожал ножиком! И его я крепко помял да — в речку. А потом испужался и деранул в Кызыл! Теперь уж совсем пропал! И вот стою перед тобой, как перед богом: выручай, ежели можешь!

— Ничего не скажешь: удрал ты пакостную штуку! — в глубоком возмущении, еле слышно молвил Дмитрий, облокотившись на стол и грызя ноготь продымленного табаком указательного пальца. Это надо же! Вот герой — кверх дырой! Ведь тувинцев же побил! Да за такое в наше время, знаешь? Шовинизм пришьют, да и упрячут куда подальше! И чего же убегал с места преступления-то?! — строжился Дмитрий. — Те-

перь и за побег из колонии пришьют. Совсем обезумел ты, што ли?!

— Так, должно быть. Покамест шел сюды, уж все обдумал: беды не миновать, ишшо и врагом народа окрестят! Ты уж как-нибудь, братка, выручай, ежели можешь. Уж не бежать же мне теперь куда-нибудь за Саяны либо в Монголию!

— Бежать... Тебя теперь везде найдут! Нет уж, братишка, где нашкодил, там и отвечай! Иначе совсем запутаешься, как щука в сетке!

...Столь необычное покаяние неожиданного пришельца буквально ошеломило: кровный же человек и такое натворил! В эти жуткие минуты Дмитрий сбивчиво вспоминал раннее детство братишки. Будто стараясь втиснуться в могучее тело отца, он прильнул к нему, как мотылек: отец богатырски громоздился на коне с винтовкой за плечами, готовый пришпорить скакуна, чтобы влиться в строй партизан и вместе с ними уйти в смертный бой с белогвардейцами там, где-то у Тарлашкина; на прощанье отец жарко нацеловывал малютку — неподдельную свою копию...

Отец не возвратился. Через каких-то три года Венка, оставив в Атамановке брата, жил уже с матерью да сестричкой Настей в Тургене — у чужого ему старика; там он кое-как одолел три класса деревенской школы, в комсомол не вступал; как-то около месяца гостил в семье Дмитрия, в далеком Чадане, и за столь короткое время, естественно, не смог получить от него должного воспитания; возмужав, парнишка-безотцовщина изредка начал выпивать, увлекся этим — и вот тебе на: восемнадцати нет, а парень угодил под суд!

Прервав тяжелые размышления о горемычной судьбе братишки, Зазнобин крикнул, чтобы услышала Марина, ворковавшая наверху с детьми:

— Покорми-ка нас, мать, быстренько, да мы с Вениамином и отвалим.

— Да куды это вы в такую рань? — спускаясь по лесенке, спросила она. — Вон на каланче-то, поди, слышали, еще семь только ударило.

— «Куды-куды!» На кудыкину гору! Не кудыкай, а то счастья не будет! Нам с братишкой пораньше надо. Понимаешь: чтобы чуть-чуть опередить начальство на его работе. Сегодня же понедельник, а вчераь оно вдруг да спрыснуло выходной-то. Поэтому, поди, шибко строгое сегодня, вот и встретить бы его поласковой! — подмигнул он Венке, чтобы не робел. — С повинной-то!

Венка при этих его словах еще больше побледнел, вспо-

миная, видно, как здорово провинился. Но добровольно же явился, сжался, поди?!

Когда вышли из дому, Вениамин сказал:

— А ты бы, братка, не ходил бы со мной: не заблужусь и один. Хуже бы не было! Мало ли што могут там подумать... Главный, можно сказать, начальник города, скажут, а ходит по милициям со всякими! Учреждение-то ить вон там какое! Ты лучше позвони кому-нибудь, чтобы приняли меня. Я тебя не подведу!

— Хорошо. Попроси, чтобы тебя принял товарищ Рогов. Ты ж ведь советский гражданин, а он там главный советник от нашей страны! Я ему сию минуту позвоню. Попрошу, чтобы принял да выслушал тебя. Не откажет! И в обиду шибко тебя, поди, не даст!

— Идет! Давай, братка, на всякий случай, прощаемся: время-то теперь вишь какое. Может, долго не увидимся... И братья обнялись.

Проводив его, Дмитрий тут же позвонил Рогову, попросил принять парня, в порядке исключения, как сына погибшего партизана. И Иван Павлович не отказал.

Зазнобин хотел было позвонить еще и самому министру Оюну. Знал, что тот в конце двадцатых годов, обучаясь в КУТВе, вступил в ряды большевистской партии; с ним не раз доводилось встречаться на городских партийных и других собраниях да совещаниях. Друг друга знали. Но раздумал: говорил уже с советником. Самого министра беспокоить счел неудобным. Держал он себя высокомерно. При встречах всегда загадочно улыбался, но никогда первым не здоровался... Тучного сложения, в национальном шелковом халате, черноглазый, с мощным раздвоенным посредине подбородком. Оюн Полат аккуратно держал в зачесе на свой покатый лоб маслянистые пряди темных волос; старался быть замкнутым, но когда к нему обращались, он широко растягивал в улыбке тонкие губы, а глаза его оставались надменными.

...Миновал уже год, как по делам советских граждан прибыли из Москвы полковник Рогов, майор Барановский и другие чины. И вот к этим людям Зазнобин и проводил тяжело проштрафившегося братишку. Считал, что тот провинился перед законом республики, но полагал, уже не настолько, чтобы сочли его врагом народа!

Время летело неудержимо, а от братишки ни слуху, ни духу... Минуло одиннадцать дней и — о радость! — в его кабинет позвонили. Взяв трубку, он спокойно проговорил:

— Зазнобин у телефона.

— Здравствуйте, Дмитрий Иванович! Рогов это. Минут через десять-пятнадцать я к тебе заверну на минутку, если не возражаешь,— с хрипотцой в голосе проговорил полковник.— Поговорить бы надо.

— Милости прошу, как говорится! Я вас жду!— радостно и в то же время тревожно ответил Дмитрий и положил трубку.

...В Комитете советских граждан посетителей еще не было, и его председатель с нетерпением ждал столь именитого гостя, который, похоже, не счит возможным пригласить его к себе «на ковер», как всегда поступал с рядовыми советскими людьми, работавшими в других организациях и учреждениях города, и не сообщил по телефону существа дела, по которому пообещал прийти. «Неужели и Бенку...»— стучало в голове Дмитрия, пока он ждал полковника.

Раздался легонький предупредительный стук в дверь, она тут же распахнулась, и в кабинет энергично шагнул Рогов. Метнув к лакированному козырьку зеленой с черными кантиками фуражки волосатую руку, полковник без приглашения уверенно направился к столу, за которым в почтительной стойке ждал хозяин кабинета.

Поздоровались за руку.

— Я только на минутку, уж извиняй!— прохрипел гость. На его низколобой, широкой, как репа, голове плотно лежали зачесанные влево густые черные волосы; под кустиками лохматых бровей настороженно поблескивали зеленоватые глаза.

— Садитесь, прошу вас, Иван Павлович!— указал на венский стул Зазнобин, тревожно следя за каждым его движением.

— Спасибо. Но рассиживать-то некогда. Забежал вот, чтобы лично, с глазу на глаз, сообщить про твоего братика, о котором ты как-то мне звонил,— торопливо ворочая зелеными глазами, приговорил Рогов.— Чтобы не компрометировать тебя как ответственного работника в городе и не подвергать оговорам твоего отца, красного партизана, погибшего в сражении с белогвардейцами, товарищи у нас в МВД с представителями прокуратуры и секретарями ЦК аратской партии единогласно решили немедленно и по возможности скрытно вывезти твоего братишку за границу и с материалами дела передать советским властям. Он здесь совершил слишком тяжкие преступления, хотя и добровольно явился с повинной... Держать его здесь как советского гражданина за границей просто непозволительно!

— И уже отправили, Иван Павлович?— спросил Зазнобин.

— Да. Отвезли и сдали, кому следует.

— Так, значит... Но вы-то, товарищ Рогов, хоть позвонили бы мне, чтобы я попрощался с парнем! Ведь не враг же он!— побледнев, с запинкой проговорил Дмитрий.— Ведь оттуда, поди, и написать-то ему не позволят!

...Не мог знать тогда Дмитрий Иванович, что почти через четверть века, уже после Двадцатого съезда партии, Президиум Верховного Суда Советской Тувы отменит решение судебной коллегии при МВД ТНР от 5 октября 1938 года и посмертно реабилитирует... Зазнобина Вениамина Ивановича, 1919 года рождения, «уроженца п. Кочетовка, Тандинского района, из крестьян, сына красного партизана».

Из специального сообщения к этому решению станет видно: юноша обвинялся в том, что он, «отбывая срок наказания в ИТК, избил двух заключенных аратов». Его действия правильно квалифицировались по ст. 39 УЗ ТНР, как хулиганство. Но в постановлении о предъявлении обвинения, утвержденном бывшим министром внутренних дел Полатом, была дописана чернилами ст. 18 (контрреволюция), однако в самом постановлении не указывалось, в чем конкретно выражалась эта контрреволюция со стороны обвиняемого. С целью физического уничтожения т. Полатом была учинена подделка не только ст. 18, но и во всех документах указывалось, что обвиняемый «является сыном бывшего колонизатора». Обвинительное заключение прокурором не утверждалось, дело не утверждалось и не передавалось в суд. 5 октября 1938 года без суда и санкции Советского посольства, без глубокого анализа дела «Судебная коллегия» во главе с Полатом вынесла смертный приговор Зазнобину Вениамину Ивановичу. «Смертный приговор санкционирован Президиумом Малого Хурала от 5 октября 1938 года». «На следующий день государственный прокурор ТНР Шома с участием оперативных работников Моломдая и Дагбалдая расстреляли» его.

В указанном сообщении Верховного Суда Тувинской АССР отмечено так же: «Председательствовал коллегия Полат, присутствовали Базыр-Сат, Талганчик (секретари ЦК ТНРП, прокурор Шома, зам. министра Парчин, советники Рогов и Барановский. После доклада Базыр-Сат предложил расстрелять виновного... Его требование прошло».

Полковника Рогова вскоре отозвали в Москву. Дмитрий ему слепо верил, да и больше никаких сведений о братишке ему не поступало. Но это выбивало его из колеи. Он чувство-

вал себя как бы повисшим над бездной на тоненькой ниточке, которая вот-вот могла оборваться...

Не прошло и месяца, как в кабинете секретаря райбюро Нацова, по национальности буряты, состоялось заседание. Когда закончилось обсуждение вопросов, Нацов сказал Зазнобину, чтобы на минутку задержался.

Последним из кабинета вышел второй секретарь райбюро болгарин Васил Танев. Тогда Нацов присел рядом с Зазнобиным, дружески хлопнув по плечу, заговорил:

— Вот что, друг... Как нам известно, здесь, в Туве, ты появился на целых десять лет раньше, чем я. Мне довелось работать здесь и в двадцать седьмом году, а тебя сюда привезли родители еще в восемнадцатом. Так я говорю?— спросил он внезапно строго, обшаривая его взглядом рассерженных черных глаз-щелочек.

— Все правильно, товарищ секретарь,— в некотором смятении подтвердил Зазнобин.

— Так вот. Мы имеем сведения, что ты очень хорошо знаешь всех постоянно живущих здесь наших коммунистов. Так ведь?

— Да, пожалуй, большинство знаю,— несмело ответил Дмитрий, насторожившись.— А что, товарищ Нацов?

— Ага. Но неужели ты, член нашего райкома, настолько твердо уверен, что все эти коммунисты вполне надежные, и не допускаешь мысли о том, что кто-то из них, может быть, и замаскировавшийся враг?!— с оттенком угрозы в голосе проговорил секретарь, обернув вороша свои буйно разметавшиеся волнистые волосы.— Ты же ведь, должно быть, знаешь, что партия, товарищ Сталин призывают нас в это тревожное время, когда вокруг Советского Союза беснуется фашизм, неустанно повышать политическую бдительность против всевозможных замыслов врагов народа! Ты уверен, что здесь, за границей, все коммунисты такие уж беспредельно преданные нашей Родине?! Мы знаем, что вы со Скороваровым, когда ты работал в Полпредстве, выселили кое-кого из тех, кто своим недостойным поведением дискредитировал советских граждан, живущих здесь,— продолжал нравоучение Нацов.— Это очень хорошо! Но среди живущих здесь коммунистов, по твоему, все ли порядочные?— продолжал он, то и дело отходя от Зазнобина зачем-то к своему столу и перебирая там какие-то бумаги.— Ведь вполне возможно,— настоятельно втолковывал он,— что кое-кто лишь прикрывается партийным билетом, а на самом-то деле... И между прочим, ты, надо заметить, о таких горе-коммунистах помалкиваешь...

Кстати, о твоём братишке. Разумеется, за его недостойное поведение ты полностью отвечать не можешь: он долго жил в Тургене и в последнее время за хулиганство отбывал срок в Кара-Булуне. Так ведь? Но все же... Отец у вас, впрочем, был красным партизаном; ты, по сути дела, давненько уж на партийной работе. А что же твой брат? Ты как коммунист должен был как-то предотвратить падение своего родственника. Ведь когда он уже сам с повинной явился в Кызыл, ты только тогда и встревожился, да и то в райбюро ничего не сообщил!

— Его что же... неужто?— вскочил со стула Зазнобин.

— А ты сиди, сиди!— попридержал его секретарь за рукав.

— Полковник Рогов сам ко мне приходил и уверял, будто братишку выслали отсюда! Между тем, прошло уже не менее месяца, а от него, как говорят, ни слуху, ни духу! Или полковник меня обманул?

— Про Рогова я ничего не знаю. Он уже выбыл отсюда. Но с братом-то ладно. Ты вот лучше про своего дружка, Ядрошниковца, скажи! Он ведь, говорят товарищи из МВД, свою деятельность всегда старался прикрывать якобы революционными заслугами: в Монголии будто бы даже Почетной грамотой был награжден самим товарищем Хас-Батыром за отчаянную борьбу против белогвардейцев, да и здесь какое-то время был партизаном у Кочетова, даже советником был в Народно-революционной армии. Словом, не подкапывайся под биографию, хотя и беспартийный! А ведь ты с ним в Чадане долгое время был рядом! Неужели так ничего за ним и не замечал? А ведь, как теперь выяснилось, он, работая в Монгольском полпредстве здесь, оказывал услуги японским милитаристам!

— Товарищ Нацов!— вскочил со стула Дмитрий.

— А ты не горячись! Я же ведь говорю с тобой, как с настоящим коммунистом!— сердито оборвал его секретарь.— Словом, ты имей в виду, что за укрывательство врагов коммунисты несут повышенную ответственность. Иди! А если что вспомнишь из этих дел — пиши, не тяни!

— Хорошо, я подумаю над этим разговором!— враз пересохшим ртом, с хрипотцой, пробормотал Зазнобин, взявшись за скобу двери и не попрощавшись, вышел.

Нацов не задерживал.

После столь неожиданного разговора Дмитрий остро почувствовал душевную боль и за братишку, и за Ядрошниковца, и за самого себя. Вскоре, однако, Цэрена Нацова вместе с

Гришей Ивановым, секретарем райкома комсомола, официально значившегося как «физкультурная организация советской молодежи в ТНР», неожиданно срочно вызвали в Москву.

Григорий Викторович Иванов, бывший учитель одной из советских школ в Танды, был известен советским гражданам в Туве больше как «Гриша Иванов». Будучи руководителем комсомола края, он не раз побывал в каждом советском поселке, на каждом прииске; в газете «Красный пахарь» публиковались его статьи о «физкультурной работе» с молодежью.

Это был добродушный, невысокого роста человек — русоволосый, сероглазый, с высоким лбом мыслителя; молодежь его страстно уважала.

...По возвращении из Москвы он «на минутку» забежал к Зазнобину, с которым дружил, и «по совершеннейшему секрету» поведал ему нелегкую историю своей поездки в далекую столицу.

— Целый месяц пришлось там прожить в гостинице: в ЦК не принимали и отлучаться никуда не велели, — рассказывал Гриша. — Позвонят, сказали мне в приемной ЦК комсомола, а Нацову — в ЦК ВКП(б). И мы ждали дни и ночи, не зная, когда и зачем пригласят.

Нацова уже через четыре дня вызвали. Увели! — грустно повествовал Григорий Викторович. — Где-то близ полуночи он сидел в одних трусах на своей кровати перед шахматной доской (я играть в шахматы не научен). Вдруг к нам постучали и тут же вошли трое мужчин в плащах и шляпах. Спросили: «Кто здесь Нацин?»

Мы переглянулись, и Цэрен, не вставая с кровати, сердито ответил:

— Нацина здесь нет. Есть Нацов. Это я! Чего изволите?

Ему приказали немедленно одеться и следовать за ними. И я после этого своего товарища больше не видел. И никто о нем в ЦК комсомола ничего не знал.

Прождав в гостинице еще три недели, я получил, наконец-то, дозволение возвращаться в Кызыл!

Вскоре по прибытии из Москвы нового первого секретаря райбюро (вторым продолжал оставаться Василий Константинович Танев, известный всем соратник Георгия Дмитрова по Лейпцигскому процессу в Германии). Зазнобину предложили оставить пост председателя Комитета советских граждан Кызыла. Его заменил Иванов Григорий Викторович...

□

РОДОСЛОВНАЯ

(Повесть. Журнальный вариант)

Часть первая. ПАМЯТЬ.

ПРОЛОГ

Она строго спрашивала, а я коротко отвечал.

— Фамилия, имя, отчество?

— Шумаков Алексей Андреевич.

— Национальность?

— Русский.

— Год рождения?

— 1930-й.

— Партийность?

— Беспартийный.

— Происхождение?

— Ну что ты, право, затрубила? Дай отдышаться. Устал я с тобой.

— Происхождение?— повторила она.— Кто твой отец?

— Мой отец — самый лучший человек в мире. Самый добрый, самый сильный, самый умный.

— Пожалуйста, без эмоций,— оборвала она.— Отвечай коротко. Кто твой отец?

— Крестьянин... зажиточный. В тридцать седьмом...

— Давно бы так!— обрадовалась она.

— Освободился по амнистии,— заспешил я, но она не слушала. Ей было все ясно.

Я отложил авторучку, отодвинул наполовину исписанный листок и тяжело вздохнул.

«Анкета ты анкета, как ты меня измучила. Не спрашивай меня больше ни о чем, а послушай лучше. Сам расскажу, что знаю о деде, об отце, о матери. Ну, слушай.»

ГЛАВА 1

Деда свалило разом, как дуб последним ударом топора. Только ветки при падении не трещали, да тяжелого вдоха дерева при ударе не слышно было. Тихонько опустился он на лавку, уронил на руки тяжелую голову и затих. Дальше уж сыновья подняли его, стянули сапоги, одежду и уложили в постель.

Странно было видеть этого неутомимого, бодрого, еще крепкого мужика обессиленным, распластавшимся на постели. Обычно он вставал до солнышка и, словно заводился кем-то на целый день, был всегда при деле и дело было при нем. Весной пахал-сеял, летом косил травы, осенью убирал урожай, зимой скотину холил, сбрую чинил.

В крестьянском деле он умел все. К этому же и детей приучал. И страсть как ненавидел бездельников и неумех!

«По-разному живут на земле,— говаривал он.— Живет кукушка, живет белка... И человек тоже живет,— кивал он головой на соседа.— Ни хомута спить, ни дуги согнуть. Этак-то никогда из бедности не выкарабкаться...»

И вот лежит он в постели — безучастный, равнодушный ко всему, смотрит в окно и ни о чем не думает.

А там мычат коровы, блеют овцы, хрипит воронок, не даваясь чужой руке. Умная скотина чувствовала беду и кричала на все голоса, будто звала на помощь хозяина. А что мог сделать хозяин? Он сам ничего не понимал в происходящем.

«Пришло, знать, то времечко, дорогой учитель», — подумал он и слово в слово припомнился ему давний разговор.

— Прошу вас, Алексей Петрович, не отлучайте Андрюшку своего от школы,— молил учитель,— у него клад в голове...

— А что мне с этим кладом делать? — перебил его Алексей.

— Ученым человеком он будет,— продолжал учитель.

— А мне ученые ни к чему, мне работники нужны... Всем учеными быть, так землю пахать некому будет. А мы, слава богу, и без ученья живем неплохо. Скотина не голодная, сами сыты, достаток в доме.

— Придет время, вы достатку своему не рады будете, — вспылил учитель.

Сдержался Алексей от грубого ответа и только потом, когда ушел учитель, дал волю своим страстям.

— Умный ты человек, учитель, а дурак,— рокотал он.— Глупые слова родились в твоей мудрой голове.— Алексей захватил в пятерню свою рыжеватую с проседью бороду, неторопливо покачал лохматой головой.— Так, значит, говоришь, собственному богатству рад не буду. Всему, что вот этими руками нажил... Лошаденке, что похрумывает овсом, коровенкам, теляткам.— Алексей вытянул перед собой сильные загорелые руки, с удовлетворением посмотрел на них

и улыбнулся: — Врешь, брат, что честно нажито, то человеку в радость.

...Непривычное многоголосье двора, какие-то команды, крик людей и рев голодной скотины вернули его в сегодняшний день.

Алексей огляделся вокруг. Старший сын лежал на печке, постанывал. У него с вечера разнылась рана, принесенная с Германской. «Средний Павел где-то на Германской же погиб», — подумал Алексей.

А младший Андрей, тот самый, из-за которого сыр-бор тогда с учителем разгорелся, сидел на табурете у закрытой двери в горенку и смотрел то на отца, то в окно, то прислушивался к тишине горенки, где собрались все женщины. Это был единственный день, когда здесь не работали.

— Ну, что там? Скоро ли? — повторял Андрей, нетерпеливо постукивая крепко сжатыми кулаками по коленкам. — Ну, скоро ли?

И вдруг шум двора и тишину комнат взорвал пронзительно громкий, басовитый крик.

Казалось, на весь мир подавал о себе голос новый человек: «Смотрите, люди, я пришел!» — заявлял он.

Но мир, увлеченный неотложными делами, не заметил его прихода. Миру было не до него.

«Если сын, Алексеем назову, — подумал Андрей. — В честь деда».

Среди всего этого шума-гама не слышно было голоса роженицы. Кусая губы от боли, она молчала. Так рожали русские женщины. Без крика, без стопа. Всю боль в себе прятали. Время и без того было трудное, жестокое.

«Эх, сынок, сынок! И угораздило же тебя родиться в этот год в семье кулака. Еще не родившись, ты приобрел эту клочку на года».

Пронзительный детский крик словно разбудил Алексея-старшего. Он негромко застонал. По-стариковски кряхтя, Петро слез с печки и приковылял к отцу, сел у его ног. Коснулся их рукой, они были холодны, как у мертвеца. Подошел и Андрей.

— Что, батя, худо? — спросил Петро.

Отец молча смотрел на сыновей. Он видел их неясные, расплывшиеся лица, понимал, что к нему обращаются, но не мог понять, что говорят, чего от него хотят. Он не мог ни говорить, ни шевелиться. Своим угасающим умом он мог только думать-вспоминать. И знал, что эти думы-вспоминания он не расскажет уже никому.

...Вот он видит себя гордо проходящим широкой улицей казацкой станицы Тимофеевки. Улицей, где каждый камень знаком, где каждая собака не лает — встречает, виляя хвостом. Ядреной клюквой сияют на солнце его лампы. Приветливо кланяются встречные, сторонятся, уступая дорогу.

Пройдет время, никто и не вспомнит, что здесь казаки обитали. А славные были казаки! Да и Андрей, сын его, неплохим казаком был бы. Как на коне гарцует! Любо посмотреть. Однажды проезжал мимо него Петро в верхах без седла. А тот, не долго думая, как кинет свое тело — одним махом рядом с Петром на коне оказался, только задом наперед... Отчистил, конечно, сына за баловство, а в душе доволен: славный казак растет.

Славные у него сыновья. Сильные, стройные, работающие. Что тебе косить, что сеять — везде Шумаковы впереди. Не стыдно показать, не стыдно и в праздник в люди выйти.

Все тише рев скотины, словно стадо на заре уходит на пастбище. Смешались в какой-то необъяснимый орнамент лица, склонившиеся над ним, затих голос младенца. Он уже не понимал, где он, что с ним. Да ему это было уже все равно.

«Умирает уральское казачество», — последнее, что промелькнуло в его затухающем мозгу.

ГЛАВА 2

Андрей вышел из дома и задами огородов прошел к реке. К тихой, любимой, нежной речке Каменке. Ворковала она непонятное, но до того родное, что сердце защемило.

Тихо опускалось солнце, такое алое, что, казалось, вот-вот подожжет все вокруг. И этот лес невдалеке, и дома, и даже воду. Кажется, от этого избытка огня займется весь мир.

Разноголосо гомоня, возвращалось с пастбища стадо, кричали бабы, звенели ведра. Все было как вчера, как позавчера, как десять, сто лет назад... И все-таки не так.

За три дня жизнь Андрея перевернулась вверх дном. Похоронил отца, лишился хозяйства, дома. А завтра должен покинуть родину, ехать невесть куда. Он с матерью, женой и сыном, которому исполнилось три дня от роду, — в одну сторону. Старший брат — в другую.

«Эх, речка, говорливая речка, — подумал он, — каждое утро поднимается над тобою солнце, к вечеру опускается за дальний лес. Летят годы, столетия. Умирают люди, рождаются новые, радость земную сменяет беда людская, а тебе и

горя мало...» Он прикоснулся рукой к набежавшей волне, словно любимую жену по волосам, погладил.

Это было его второе прощание с родиной. Вспомнил то, первое, чужбину вспомнил и на память пришло полузабытое...

«В России революция!..»

Полковник говорил дальше, но слова его туго усваивались. В голове Андрея каруселью кружились слова: «В России революция...»

Андрей видел торжественно-неподвижный силуэт полковника, за ним небольшой строй офицеров, а рядом — справа и слева, сзади и спереди — слышалось настороженное дыхание солдат.

И вспомнилась Андрею родная деревня Тимофеевка. Мать, отец, веселая и беззаботная речка Каменка. И потянуло прохладой с полей, и словно услышал стук копыт, ржание коней, уносивших его со сверстниками в ночное.

— Мы решили,— продолжал полковник,— всем штабом вернуться в Россию. А солдатам предоставляем право выбора. Кто хочет, оставайтесь здесь, в Китае. А кто домой пожелает, в добрый путь с нами. Дорога будет трудной, кордоны, секреты... Но это дорога домой.

Строй загудел, заволновался, как степь при небольшом ветерке, и начал раскалываться на две части.

«Что стоишь-то?— толкнул локтем Андрея земляк Петр Ведров.— Идем!»— Он указал туда, где небольшой кучкой собрались решившие связать свою жизнь с чужбиной.

— Ты что?— отпрянул Андрей.

— Жизнь-то какая будет!— не слушая его, горячо затоторил Петр.— Там и до Америки рукой подать.

— Отцепись!— не выдержал Андрей, вырвав руку из цепкой хватки земляка.

Дорога уводила вдаль. Андрей оглянулся. На фоне почерневшего неба слабо маячила горстка людей, бросивших родину. И чем дальше уходил полк, тем неразличимее становилась она, все уменьшалась и уменьшалась, пока наконец не растворилась в ночной хмари...

* * *

— Алеша, сынок, отца встречай. Отец лошадь купил. Я шмыгнул за дверь и рысью помчался по пыльной дороге.

Навстречу мне неторопливо ехал всадник. Голова лошади покачивалась в такт шагов, покачивался и всадник.

Поравнявшись со мной, отец ловко спрыгнул на землю, подхватил меня под мышки, и я тут же очутился на шаткой спине лошади. Было страшно и в то же время необычно. Отец одной рукой держал меня, другой — лошадь за повод. Так и въехали мы во двор.

Запомнилась веселая, улыбающаяся мать с краюхой хлеба в одной руке и с ведерком — в другой.

Соседи Даниил Симаков, Петро Лысов. Пришел и Егор Парамонов — в длинной кавалерийской шинели.

Взглянула мать на Егора, на его выцветшую шинель и ведерко выронила. Полилась по двору вода, загремело ведро.

— Ну, Егор! — взмолилась мать. — Сколько тебе говорить? Сними ты эту шинель. Увижу тебя и все кажется, за отцом пришли.

— А ты не бойся, — грубоватым баском ответил Егор.

— Как не бояться-то? — сокрушалась мать. — Если каждое утро не петухи голосят, а бабы.

Мужики, между тем, неторопливо ощупывали лошадь. Смотрели в зубы, пробовали мускулы, стучали ладошкой по холке. Они и не заметили, как в азарт вошли, словно вернулись к ним далекие крестьянские деньки, и они на большой, шумной ярмарке покупают каждый себе по лошади. Расшумелись, заспорили. Только мама стояла в сторонке и тихо улыбалась.

Первым отрезвился Симаков. Он вдруг отошел от лошади, опустился на чурбан, служивший хозяину для колки дров, и, немного помолчав, проговорил:

— Неймется тебе, Лексеич. Опять за старое взялся. Эх, душу-то разбередил... Куриц развел, козу купил, теперь вот — лошадь. Мало тебя, видать, учили... А я вот не могу так. Мне один раз руки обрубил и баста... С этой скотиной сам скотиной будешь.

— Скотина в хлеву — песня в дому.

— Загремишь ты со своей песней, — не унимался Симаков.

А отец, не слушая его, продолжал:

— Придет время, разберутся, дадут нам прежние права, и заживем мы вольной жизнью... Ведь мы никого не убивали, не жгли. За что с нами так-то?

— Знамо, не убивали, не жгли, — согласился Симаков. — А только кто разбираться-то будет? Разбираться некому.

Не спалось. Андрей сидел у окна, слушал посапывание сына, глубокое, тяжелое дыхание жены, иногда с оханьем, с

пристаныванием. Она никогда не жаловалась на жизнь, только во сне выдавала себя.

«Устала, бедняжка, — думал Андрей. — Нет, не женское это дело — шпалы ворочать... А легче ничего не придумаешь, если сам себе не хозяин. Куда поставили, там и работай...»

Мирно тикают часы, за окном недолгая летняя ночь, во круг покоя, тишина.

— Не разберутся, говоришь? — Андрей словно продолжал спор с Симаковым. — Разберутся. Снимут с нас это пятно, домой отпустят...

И зазвенела на разные голоса речка Каменка, словно колокольчики рассыпались по полу, словно ветерок неброский пробежал по реке и заволновал неторопливую воду. Отогрелась душа от этих воспоминаний. Тихая задумчивость осеннего леса заполнила ее. Леса, который все повидал, все испытал, и плохое, и хорошее, но ждет чего-то неизведанного и непременно хорошего.

Задумался Андрей и внутренним голосом запел:

«Вечерний звон, вечерний звон,
Как много дум наводит он».

Душевная песня. Он пел ее и на безрадостной китайской земле, и здесь, на лесоповале. Пел, когда было трудно, грустно, одиноко. Пел и тогда, когда короткий миг счастья находил его. Вот и сейчас, казалось ему, разлилась песня по комнате, выплеснулась за окна, заполнила весь мир и позвала к счастью, к свободе. «Разберутся, — тихо прошептал он, — не могут не разобраться».

В дверь постучали. «Кто бы это?» Он вышел в сени, сбросил с петли крючок и...

Перед ним стоял подтянутый человек в форменной фуражке и шинели. Хозяин посторонился. А «гость», пройдя в комнату, отдал честь и негромко произнес: «Вы арестованы».

Милиционер сел на табурет, хозяин стоял рядом.

— Ну что? — спросил милиционер. — Жену будить?

— Пожалуйста, не надо! — протестующе замахал руками Андрей. — Пусть хоть еще две минуты побудет в покое. А мне разрешите к соседу зайти, распоряжения кой-какие по хозяйству дать?

Милиционер согласно кивнул, и хозяин тихонько вышел. Скоро он вернулся, подошел к спящей жене. «Как она красива, — думал он. — Рука не поднимается будить...»

— Груша, — позвал тихо. — Груша!

Она медленно просыпалась, словно выныривала из

глубокой реки. Глаза не хотели раскрываться, уставшее тело сопротивлялось движениям, но надо вставать, потому что откуда-то издали она слышит негромкий и до того родной голос: «Груша...»

ГЛАВА 3

Пристально вглядываясь во все вокруг, по улице шел высокий, широкоплечий мужчина. Под одеждой его угадывались сильные мускулы рабочего человека. Руки его были закинута за спину. Эта привычка опытному взгляду говорила о многом. Он шел, а душа его парила где-то высоко-высоко. В этот миг он забыл о бедах и муках, свалившихся на него, он жил настоящим днем, наслаждался его теплом и светом, радостью возвращения.

Волновали его и новенькие пятиэтажные дома, и молодой горсад, и музыка, льющаяся из репродуктора. Он впитывал все, наслаждался всем и никак не мог насладиться.

Так бывало в жаркий день на сенокосе. Пройдет несколько кругов с косой, подойдет потом к бидону с квасом — пьет, пьет и не может напиться. Жажда одолевает. Такая вот жажда у него и сейчас. Жажда жизни.

Музыка была все слышнее и слышнее. Только на мгновение умолк репродуктор, и снова полилась песня.

«Утро красит нежным светом», — негромко подпевал репродуктору человек.

Он хотел было идти дальше, но вдруг музыка оборвалась. Репродуктор помолчал, похрипел, словно откашливаясь, и мгновенно изменившимся голосом проговорил: «Слушайте важное сообщение!» — И снова замолк.

А человек стоял с легким, поющим сердцем. Мелодия, оборвавшаяся в репродукторе, продолжалась в его груди.

* * *

Знал Андрей, не так надо было поступать. Умные люди так не делают. Реабилитацию получил. С такими документами в любом городе осесть можно. Избавился бы от позорной клички «спецпереселенец», семью бы к себе затребовал... Но только написал жене, только узнала, что освободился, сразу же отписала: «Приезжай! Нельзя нам, Андрюша, врозь жить. Как ни плохо, а вместе бедовать будем. А то ведь сердобольные-то люди что мне советуют: сдай, говорят, ребенка в

прият, легче будет. Так что же нам, неужели из-за каких-то выгод семью рушить?..»

— Нельзя нам врозь жить,— тихо повторил Андрей слова жены и улыбнулся.

«Теперь-то ничего не страшно,— думал он.— Жизнь колесом закрутится. Прекрасная будет жизнь. Главное, оттуда выкарабкался. Спасибо другу».

Он снова задумался, и на глазах его блеснули слезинки.

* * *

— Как ты сюда попал?— с первой же встречи спросил профессор.

— Не знаю,— ответил он.— Ночью пришли, забрали... Вот и все.

Они кайлили мерзлую землю, накладывали ее на носилки и таскали на-гора. С каждым днем котлован становился глубже, а дружба их — крепче.

Вокруг по-муравьиному копошились десятки, сотни, тысячи людей, но ближе всех был Андрею этот здоровый, толковый человек, умеющий говорить, но больше умеющий слушать. Они, как рабы к галере, прикованы к одним носилкам, к одной кирке. И никуда им не уйти ни от носилок, ни друг от друга.

— Вызвolyть надо тебя отсюда,— сказал как-то профессор.— У меня дело запутанное, одним махом клубка не размотать, а у тебя все на виду... Пиши,— оживился он, загораясь этой мыслью.— Пиши! Я ошибочки исправлю, смысла придам и отправляй...

— Да что уж там,— махнул Андрей рукою.— Видно, плетью обуха не перешибешь.

— Пиши, говорю,— настаивал профессор в другой и третий раз.

И настоял-таки. Отослал отец отредактированное профессором письмо в Свердловск, словно в бездонную бочку бросил. Ни слуху, ни духу.

— Ну как?— спрашивал профессор.— Молчит Свердловск?

— Молчит.

— А ты в Москву пиши.

— Без толку все это.

— Пиши, говорю!— повысил голос профессор.— Совсем раскис мужик. В Москву пиши. Калинин.

И написал снова...

В то утро, только подъем сыграли, а по бараку громогласно:

— Шумаков, с вещами!

Екнуло сердце, мысли спутались, руки не слушались.

«Неужели?.. Нет, нет, в это верить невозможно. За эти годы ни одному еще такое счастье не улыбалось. Нельзя в это верить, слишком велико будет разочарование... Здесь что-то другое. Неужели допрос?..»

Стоит у выхода, с котомкой. Профессор издали улыбается, головой машет: иди, дескать, счастливого пути.

Обидно, так и не простились по-человечески.

Разных людей собрали лагеря. Были профессора, поэты, были такие, с которыми в обыденной жизни и не встретился бы — только в газетах да по радио. Но была и шпана: урки, воры, ответные люди, по которым тюрьма плачет в любое время. И все они под одной крышей, в одном котловане.

И был у профессора с одним из шпаны конфликт. Бежит воруга на профессора. Правая рука вытянута, два пальца рогастиной — словно вилка в кулаке зажата:

— Моргалы выколю! — кричит, слюни изо рта брызжут.

— Ну-ка, — негромко говорит профессор, стоя наизготовке. — Беги, беги... Я тебя сейчас...

И не выдержал урка, свернул на полдороге в сторону. С волками жить, по-волчьи выть...

* * *

— Слушайте важное сообщение! Сегодня...

Слова, как бомбы, врывались в душу и взрывались там, разметаая в клочья все прежние мечты и мысли. На улице замелькали прохожие. И всех их будто подхлестывал голос из репродуктора: война!

...Месяц прошел, как вернулся отец, а я не могу привыкнуть к этому счастью. К счастью проснуться на руке отца, к счастью пилить с ним дрова, идти с ним. Какая это радость, когда рядом с тобой отец! Сильный, спокойный, бесстрашный. Он — твоя гордость, твоя опора, твоя песня.

Однажды нас с отцом застала в пути гроза. Неистовая, огненная, оголтелая. Небо с треском рвалось на части, земля раскачивалась и утопала в потоках воды. Деревья, как испуганные волшебные птицы, взбалмошно махали крыльями. Улететь бы!..

Я здорово струсил. Но отец, высокий, широкоплечий, спокойный, крепко держал в своей сильной шершавой руке

мою слабенькую, похолодевшую ручонку, невозмутимо шел вперед и громко, стараясь перекричать бурю, говорил:

— Не трусь, сынок. Гром, что над нами, не убьет. Его молния сгорела.

Сколько лет прошло, а когда гремит надо мною гром, я вспоминаю ту бурю, слышу ободряющие слова отца.

Редко виделась мы с отцом. Уходил он на работу, я еще спал, а возвращался — я уже спал.

А когда просыпался, выбегал на борт разреза... Вон там, в самой глубине, экскаватор отца. Таким хиленьким, таким ранимым казался он мне.

— Папа, в тюрьме били? — спросил я как-то.

— Других били, меня нет, — отвечал он, немного помолчав.

— Как это? — не унимался я.

На этот раз отец молчал дольше. Не хотел, видно, беречь прошлые раны и не ответить не мог. У него такой закон: ни одного моего вопроса без ответа не оставлять.

— Когда начали на допросы водить, — заговорил наконец отец, — всякие там люди были, но больше упорных. Ему говорят: «Ты — предатель.» А он в ответ: «Я — честный человек». Всыпят ему и снова: «Ты — враг народа». Он: «Я — честный». И опять высыпят.

Приводят с допроса таких-то в крови, без сознания. Голова кругом идет...

И вот до меня очередь дошла. Стою перед «тройкой», словно раздетый совсем.

— Ты — враг народа, — говорят мне.

— Да, — отвечаю я.

«Тройка» онемела. Впервые, знать, в их практике такое.

— Вы правильно поняли обвинение? — нашелся наконец один из них.

— Правильно. Я — враг народа.

Дали мне восемь лет... Скидка была за чистосердечное признание.

— Папа, а хорошо или плохо ты сделал? — не унимался я. — Нехорошо ведь обманывать.

— Не знаю, сынок. Просто я подумал: «Зачем зазря погибать?» Очень хотел тебя увидеть, маму.

— Папа, ты ребятам задачи решать помогаешь. Где ты научился-то этому?

— В тюрьме, сынок. Вместе с профессором носилки таскал, так он меня по вечерам математике обучал...

Ну, хватит, сынок, давай поспим. Смена у меня сегодня тяжелая будет. Ночная.

...Черная ночь, черное небо, черный угольный борт. Мелькали то стена забоя, то бункер, из-под которого уплывал на-гора угольный ручей.

Губы отца стиснуты, упрямый взгляд светился, меж бровями, как восклицательные знаки, встали две вертикальные морщинки. Казалось, он не работал, а дрался со злейшим врагом. И драка эта не на жизнь, а на смерть.

Сквозь гул машины слышались какие-то мелкие, едва уловимые звуки. То там, то тут борт начал посыпать.

«Убегай, спасайся», — предупреждал человека забой. И человек слышал эти предупреждения. Но как убежать? Как бросить машину? Спасаться, так вместе. Переключившись на ход, отец стал отгонять экскаватор.

Но борт уже поплыл ожившей волной, грохочущим водопадом. Клубы пыли сделали ночь еще чернее. Грозная волна дохнула жарким огнем в лицо отца, догнала экскаватор и захлестнула его.

ЭПИЛОГ К 1-Й ЧАСТИ

Речка, речка, говорливая речка. Летят над тобою годы, шумят ветра, гремят громы, льют дожди, свистят метели, а ты течешь себе и течешь, не замечая скорого полета времени. Обмелела, все камни наружу выставила. Ивы над тобой до самой воды ветви опустили, в студеной воде листочки свои полощут. Непросто, знать, и тебе эти полвека с гаком достались. Выйдет Алексей на бережок, сядет на огромный камень, невесть откуда взявшийся среди щебеночной мелюзги, и смотрит вокруг, не насмотрится.

Не сбылась мечта отца, не увидел он своей речки Каменки. Вдвоем с мамой приехал Алексей на родину. Дом, из которого выселяли их, сгорел. Черные столбы да труба в небо смотрят. Кому он нужен такой-то? Легче на новом месте строиться, чем этот ремонтировать. Разобрали они старый дом, а на его месте новый построили. Маленький, в два окна, но светлый, уютный, теплый...

От дома огород к самой реке спускается. Грядки аккуратные, как и все, что сделано руками мамы. Мама помидоры пасынкует. Вертится около нее внук, лепечет что-то.

Нет, не ее внук, а его, Алексея, Андреем нареченный в честь деда...

Вот как годы-то проносятся. Не годы, а прямо-таки ракета сверхзвуковая... Тут и жена его огурцы поливает.

Солнце опускается к закату, готовится ко сну поселок. Мама устала, натопалась за целый день, но виду не показывает.

Мама, моя милая мама! Не заметил я, как оба с тобой состарились. Сколько бед, сколько мук, сколько трудностей ты пережила! На пенсии давно, а лицо, как прежде, ласковое, доброе, молодое. Когда ты улыбаешься, морщинки на нем, словно лучи от солнышка, в разные стороны разбегаются. И теплее становится на душе и светлее от того, что ты рядом.

Только займется рассвет, а ты уже на ногах, словно будильник в тебе спрятан. И звенит он раньше петухов. Утром рано-раненько начав дела с кухни, ты уже не остановишься. То кур накормишь, то зелень польешь, то траву выполешь. Лишь поздно вечером, когда все дела переделаны, присядешь ты на лавочку и, думая о чем-то своем, заветном, улыбаешься закату.

Но сегодня ты не села на лавочку, а подошла ко мне и спустилась рядом со мной на камень.

— Прощай, сынок,— сказала ты негромко и как-то от-
решенно.— Ухожу я от вас.

— О чем ты, мама?— не понял я.

— Ухожу навсегда,— повторила ты.

— Как уходишь? Куда уходишь?

— К отцу ухожу,— почти прошептала ты.— Отец зовет.

— Что ты, мама, сорок пять лет, как отца похоронили.

— Да, да. Все правильно. А только сегодня он ко мне в сон приходил.

— И что он?

— Звал меня. Приходи, говорит, заждался я тебя... Со-
скучился. Зовет он меня, а наш отец такой, он зря не позовет.

Через неделю её не стало. Умерла тихо, как и жила.

Часть вторая. 50 ЛЕТ СПУСТЯ

ДОРОГА

Мчится вперед поезд, убегает назад дорога. Все ближе город моего детства. Его нет на картах, но есть в моем сердце, в моей памяти. Я думаю о нем и вижу свое детство. Входит мама с полным подойником молока. Молоко пенится, парит, а она, зачерпнув из ведра кружку, подносит ее мне.

— Выпей, сыночек. Очень пользительно парное.

Я пью, а мама сияет от счастья.

— Вкусно? — улыбается мама.

— Вкусно.

Входит отец.

— Ты еще в постели? — говорит он мне.

— Пусть понежится, — отвечает за меня мать, — нарабатывается еще, навстается.

— Вырастим белоручку, — не понимает отец.

* * *

— Гражданин, следующая ваша, — слышу я голос проводника. — Задремали?

Задремлешь тут, если дорога в детство привела. В кои-то веки смилостивилась надо мною судьба.

Я медленно вхожу в реальность. Все слышнее шутки пассажиров, все виднее мой город...

Перед смертью мама наказала: «Выбери, сыночек, время, съезди к отцу, поклонись его могиле. Поправь оградку, покрась, цветочков рассади. Не забывай родителей и тебя бог не забудет».

Да как же я забуду вас, если вы никогда не забывали обо мне? Я расскажу о вас сыну, сын расскажет своему сыну — так и пойдет цепочка памяти, цепочка мудрой доброты.

На самом видном месте, где раньше божничка была, портрет ваш висит. Наверное, сразу после свадьбы заезжий фотограф сфотографировал вас. И прошла это фотография вместе с вами все выселки, все аресты, все невзгоды. Смотрите вы с нее оба молодые, веселые, красивые. Взгляд куда-то вдаль и ввысь устремлен, словно светлый завтрашний день видите перед собою. Ваши лица светятся и освещают нашу горенку.

ВСТРЕЧА

Поселок спецпереселенцев. Здесь он где-то был. Маленькие одноэтажные домишки, похожие друг на друга, как близнецы. За поселком репатриированные жили. Рядом с ними киргизы. На горе, возле леса, лагерь военнопленных. Все сохранила память, но разрушило время. Нет ни спецпоселка, ни бараков репатриированных, ни лагеря пленных. Стоят многоэтажки нового города. Вдалеке от него алюминиевый завод трубы поднял. Рассказывали, по новой системе выстроен, ро-

зу ветров учли, все предусмотрели, так что никогда не будет дыма над городом. Это хорошо.

Только дома-то новые, люди другие, а память старая осталась. Не вытерпел, вошел в бывший кинотеатр, единственное строение, оставшееся от старого города. В нем теперь не кинотеатр, а Дом пионеров.

Откуда-то доносится музыка, выводит мелодии детский хор, где-то рыдает скрипка, а я слышу вьюжную зиму сорок первого года. Одиннадцать часов. Вечер. Кинотеатр. Билеты проданы, счастливики в зрительном зале, но в фойе полно желающих посмотреть это кино...

Шумят, волнуются, гомонят. Требуют дополнительного сеанса. А это будет в час, и сеанс состоится. Ничего, что кино окончится в три часа ночи, ничего, что на сон останется два-три часа, зато они посмотрят прекрасный, веселый фильм.

ВОЕННЫЕ КЛАДБИЩА

Не нашел я могилы отца и... не найду. Не распространялся на кладбища военных лет общий закон сохранности. Кладбища стихийно вырастали где-нибудь на небольшой полянке и так же быстро исчезли, чтобы снова появиться на другой, на третьей, не оставляя после себя ни креста, ни памятника. Одни бугорки вокруг, словно отметины на лице переболевшего оспой человека.

А потом, через много лет, бульдозера сравнивали эти бугорки с землей, и не осталось ничего. Словно и не жили люди совсем.

Военные могилы, вы и под этой звенящей девятиэтажкой, и под сияющим на солнце фонтаном, и под зеленым сквериком, заботливо окружившим детский сад. Вы везде и вы нигде.

Хожу по городу, вслушиваюсь в звуки дня, а душу заполняют голоса из прошлого.

РЕПАТРИАНТЫ

Жили они в длинных бараках с нарами под потолок. Я часто по вечерам бывал у них в гостях. Слушал рассказы о войне, о подвигах, как в атаку ходили, как фрицев били, через жуткий плен прошли, а в благодарность за все это спецпоселение заработали.

О женах, о детишках вспоминали. Рассказов много, но больше всего мне случай один запомнился.

Барак жил своей обыденной жизнью. Кто-то спал, не расправив постели и не раздевшись. На это просто не хватило сил. Пришли с работы, рухнули на койку и отключились.

У кого-то их хватило. Умылись после работы, сидят на койке, газетки читают. А этот фуфайку изодранную чинит. Да ненароком иголку уронил. Блеснула она на слабом свете и укатилась куда-то. Долго искал он ее под койкой, под тумбочкой, да так и не нашел.

— Пропала игла,— вздохнул он, тяжело опустился на койку и заплакал.

— О чем плакать-то?— сказал сосед по койке.— Об иголке?

— При чем тут иголка,— по-детски всхлипнул тот.— Если вся жизнь, как эта иголка, улетела куда-то.

Сосед тоже вздохнул и тихо сказал:

— Пснимаю, все понимаю. Только у меня положение куда хуже. Из больницы выписали, завтра на работу. Как я буду работать? Как рельсы таскать, если собственного тела ноженьки не держат.

— Целая ночь впереди, отдохнешь к утру.

— Отдохну-у,— ответил больной, а на лице его было такое выражение, словно он на всех на нас с того света смотрел...

Утром он не проснулся.

ПЛЕННЫЕ

Мимо городка репатриантов вела тихая, безлюдная дорога. Тихой и безлюдной была она потому, что вводила к лагерю военнопленных.

Они шли по этой дороге большой, человек в сто-сто пятьдесят, колонной. Неторопливо вышагивая, раскачивались из стороны в сторону, словно совершали им одним понятное таинство.

Нет, это не похоронная процессия, не ритуальный танец, это идут по улице небольшого уральского городка пленные фашисты. Спешить им некуда, они идут на работу.

Не бегут за ними горластые, вездесущие пацаны, не останавливаются любопытные прохожие. В те суровые годы не было ни тех, ни других. Пацаны повзрослели, бездельники выродились. Да и привыкли здесь к пленным, как привыкают к неприятной необходимости.

Остановится, бывало, бывший солдат, опираясь на костыли, и скажет другому калеке, махнув на колонну:

— Отвоевались соколики. Смирненькие стали.

Два человека всего конвоировали колонну: один шел в голове, другой замыкал ее. Сколько возможностей было у этих людей удрать, но за все время не было ни одного побега. Почему?

Я заглядывал в глаза пленных и не видел в них и проблеска желанья свободы. В них были неизбежная тоска и щемящая боль сердца, но не было отчаянного желанья свободы. Такого желанья, которое толкает на безрассудные поступки, когда человек не с гранатой, а с пустым кулаком бросается на танк. Нет, они очень рассудительны, чтобы решиться на побег.

Зачем торопить события?

Зачем подвергать себя опасности?

Вот сломят рога Гитлеру, и свобода придет сама собой. А пска им и здесь неплохо. Не бьют, не терзают. Можно подождать.

Во время перерывов ко мне подсаживался один высокий немец.

— Ви гейс?— говорил он и тут же переводил:— Как дела?

Он показывал мне фотографию. Счастливое семейство. Он, жена, две симпатичные дочки. Как уходить-то от такого счастья?

А сны ушли. Верили, что уходят ненадолго...

Перекур окончен. Мой собеседник прячет фото, неохотно идет к месту работы.

Они таскали шпалы, укладывали их на щебеночную псдушку. Движения их были медленны, размерены... И никто их не подгонял.

Наступал вечер, их собирали в колонну и вели обратно. Приземистые бараки укрывали их. Там пленных накормят, спать уложат, и ни одного удара, ни одного грубого слова.

И вот настал день, когда пленные покинули мой город. Кажется, сразу посветлело вокруг, свежее стал воздух. Вспомнят ли они там, на своей родине, нашу доброту? Расскажет ли обо мне знакомый немец своим деткам с фотографии. Наверное, нет. А так хочется, чтобы рассказал. Хочется, чтобы его дети, выслушав о нас правду, стали добрее, чем он тогда, в сорок первом, и мир навсегда бы забыл, что такое плен.

«Экскаваторщики Анатолий Торопов и Андрей Шумаков проводили на фронт сменщика Федора Орлова.

Третьего в экипаж решили не брать. Сменное задание договорились выполнять вдвоем, а долю Орлова перечислять в фонд победы над фашистами».

Эта молния о моем отце. Я сорвал ее с прокопченной стены управления в тот день, когда случилась беда. И храню до сих пор, как самую дорогую реликвию.

Не сдержал отец слова, не выполнил обещания. Но это уж не его вина.

...Сейчас поднимусь на холм, миную рощицу и увижу угольный разрез. Тот самый! Неужели возможно такое?

В памяти встала картина разреза с малюсенькими, словно игрушечными, экскаваторами — так кажется, когда на борту глубокого разреза стоишь, и там глубоко-глубоко отчетливо видишь экскаватор отца...

Но что это? Чем выше поднимаюсь на холм, тем светлее становится. А когда на самую макушку забрался, словно со дна моря на его поверхность вынырнул. Столько голубизны и света вокруг.

Все ясно, я заблудился. Вместо разреза сверкает передо мною озеро. Да такое большое, что берегов не видно. Но откуда оно взялось? В детстве все окрестности исходил и никакого озера не видел.

А тут озеро, на море похожее. Невдалеке пацаны купаются, визжат. Чуть подальше лодочная станция виднеется.

«Пойду к пацанам,— решил я.— Покупаюсь, в детство окунусь и разузнаю обо всем».

— Выручайте,— сказал я, подходя к ним,— заблудился я. Разрез ищу... угольный.

— Здесь он,— ответил один из ребят.

— Где же?

— А вот,— широко махнул рукой все тот же словоохотливый пацан.— Под водой под этой. Вычерпали уголь-то... А разрез водой затопили, чтобы борт его вместе с городом в яму не осыпался.

— Как ты все знаешь?..

— А нам учительница рассказала.

Я смотрел на сверкающую воду и сквозь ее толщу видел то, чего не виделось пацанам, слышал то, чего не слышали они.

РАЗГОВОР
С ОТЦОМ

— Как живешь-то, сынок? — слышу тихий, далекий голос отца.

— Живу... Только мне очень не хватает тебя.

— Знаю, а что поделаешь? Войну-то как пережили?

— Пережили. Я работал, маме помогал...

Помню, целый день металлолом собирали и к цеху с высокой трубой подтаскивали. Куча перед цехом росла, а мы все несли и несли железо. Спешили. Ветер сугробы наметает, грозитя металлолом завалить. Потом откапывать придется. Устали мы с Сережкой, а виду не подаем. Ведь здесь каждый на виду — работал весь наш первый «а».

Закончилась работа. Дяденька перед нами выступил. Сказал: «Спасибо вам, ребята. Вы очень помогли нам. Из вашего металла мы изготовим танк и пошлем его на фронт». А потом мы пошли в буфет и всем нам выдали по двести граммов хлеба. Я засунул его подальше во внутренний карман и побежал домой.

С каким удовольствием я съел бы этот кусочек. Но этого делать нельзя. Я нес домой свой первый заработок.

— Молодец, сынок.

— Нет, папа, не молодец. Сейчас я расскажу такое! Слушай.

Продавали хлеб. Толпа окружила магазин. Люди толкались, гомонили, ругались. Но каждый из них знал, что рано или поздно получит свою порцию. И только мы с мамой стояли в сторонке и ни на что не обращали внимания. Все, что происходило вокруг, нас не касалось. Дороги к магазину нам нет, потому что я потерял хлебные карточки. Ты знаешь, что такое потерять хлебные карточки!

Мама не кричала, не била меня. Любое самое страшное наказание было бы мизерной толикой возмездия. Вот почему она ни слова не вымолвила, а только посмотрела на меня взглядом, которого я не забыл до сих пор.

Тогда-то я, восьмилетний пацан, понял, что такое настоящее горе.

«Ну, хватит стоять, — сказала она, — так и с ума можно сойти».

Я не узнал ее голоса: хриплый, низкий, загробный...

Взявшись за руки, мы с мамой пошли домой. Видно было, что она решила на что-то отчаянное... И мы выжили.

Когда я вижу праздничные салюты, то вспоминаю этот самый тяжелый день в моей жизни, вспоминаю лицо матери, строгой, решительной, готовой на все ради жизни. Я тихо шепчу: «Мы победили...»

— Трудно было?— спросил отец.

— Трудно.

— Страшно было?

— Страшно...

Однажды пролетал над нами двухкрылый самолет.

— Самолет, самолет!— закричали пацаны и побежали вслед за ним. Даже мы, постарше, не удержались от того, чтобы не задрать головы.

А самолет летел низко и так медленно, словно по небу прогуливался. Отчетливо были видны буквы на фюзеляже, а летчик приветливо махал нам рукой и, казалось, улыбался. В этот миг из подъезда вышла женщина с ребенком на руках. Увидев самолет, мальчик прижался к матери и громко закричал:

— Мама, самолет! Скорей в убезиссе!

Женщина успокаивала ребенка, а он все кричал одно слово: «Убезиссе...»

— Из Ленинграда мы, эвакуированные,— сказала женщина, повернувшись к нам...

— Расскажи, как до победы-то дожили. И какая она была, весна победы?

«О! Что ни говори, а весна есть весна. Это тебе не слезная осень, когда раскисшие поля слепо чернеют вдалеке, а оголенные деревья ссутулились под ветром, приумолкли в ожидании холодов. И такая во всем отрешенность и усталость видится. Поздняя осень о вчерашнем дне думает, а весна девкой румянощечкой в завтрашний день загляделась.

Каждая березка невестой сияет. Вытянувшись в струнку, стройнее и выше кажется. Полянки, едва сбросив снег, зазеленели травой, зажелтели подснежниками. Даже речка Безымянка, такая скромная, такая тихая в обычное время, когда, как мальчишка-шалунишка, перепрыгивала с камушка на камушек, звонко напевала что-то веселое, задорное; а нынче, посмотри-ка, раскинула берега, шумит, волнуется, все на свой лад поставить хочет, мощь свою богатырскую показывает.

Смотрю вокруг и чувствую прилив сил, словно и сам я, как эта речка берега, плечи раздвинул, какая-то неодолимая сила заполняет грудь. Кажется, все смогу, все осилю...

Слепит глаза щедрое солнце, хлопает под ногами рас-

кисшая дорога, впиваются в плечи лямки, мешок тянет назад, но я иду вперед. Передо мной, мерно покачиваясь, маячит мешок мамы. Сколько километров отмахали? Не знаю. Знаю только одно: дойдем, осилим!

— Не устал, сынок?— спрашивает мама, не оглядываясь и не сбавляя хода.— А то отдохнем.

— Нет,— отвечаю. Я не хочу отдыха, боюсь его: присядешь, расслабишься — пропал!

Мы шли из деревни. Обменяли там на картошку последнюю рюкзак семьи — швейную машинку. Это была мамина помощница. Но что делать? Вот во что обошлись утерянные хлебные карточки...

Как одна сплошная, холодная, жестокая зима — такой запомнилась мне война.

Мальчики, встретившие ее в четырнадцать лет, к концу войны стали солдатами, девчонки — невестами, невесты — старыми девами, а мамы, наши нежные, милые мамы, стали вдовами. Заменили отцов. Стали шоферами, машинистами экскаваторов...

Как ни длинна зима, но пришел ей конец. Гомонили улицы, плакали и смеялись люди, они встречали победителей. Кто мужа, кто сына, кто отца. А наша соседка Таня Симаква своего суженного встречала. И вот он! Идет по главной улице в солдатской форме. Не спеша идет. Не как гость, а как хозяин. Окончил тяжкое дело и снова к обыденным делам вернулся. На лице радость, смущение, а на груди Звезда Героя поблескивает.

— Боже!— ахнула Таня.— Петька — Герой! Не может быть! Дружили, так не поцеловал ни разу. Ну, герой... Скажи, как это ты удосужился звезду-то отхватить!— спросила сна жениха.

— Сам не знаю,— ответил солдат.— В атаку пошли... Все бегут, я бегу, все стреляют, я стреляю... А когда подкрепление подошло, один я остался, награждать-то некого... Вот и наградили,— закончил он смущенно.

— Я так и думала,— и они весело рассмеялись.

Пусть простят их веселье не вернувшиеся с войны, простят вдовы и сироты...

Еще свежи были братские могилы, горько устались в небо трубы сожженных деревень, хмуро, из-под нависших бровей, смотрел еще не сытый, не спокойный завтрашний день. Но им было весело. Потому что весна, потому что они живы, потому что они вместе, они победили.

Отец молчал, видно, обдумывал все сказанное мной, потом особенно проникновенно, из глубины души, как из глубины моря, спросил:

— Как там Каменка-то?

— Жива Каменка. Весело с камушка на камушек перепрыгивает. Солнышко над ней светлое каждое утро встает, птички распевают. А вечером закаты ясные загораются. Тебя помнит.

— Как хотел я увидеть ее! — вздохнул отец. — Да, знать, не судьба... Поклон ей передай. Скажи, что всегда помнил о ней. На чужбине, в лагерях, на выселках. Пусть и она помнит обо мне.

— Она о тебе помнит, — повторил я и услышал в ответ облегченный глубокий вздох моря. Это порыв ветра всколыхнул воду и тут же стих. Пошумела, поиграла волна и успокоилась.

— Об одном прошу, — сказал отец. — Что бы ни случилось, не забывай Каменки. Одна она у нас и в радости, и в горе. Она — наша Родина...

Вода, едва покачиваясь в безветрии, перемывала отшлифованную гальку; солнце, искрясь веселыми зайчиками, перескакивало с гребешка на гребешок; тучи из неведомой глубины моря загадочно смотрели на меня.

Было легко и печально.



Петр БОСЕНКО

ОДНА СОТАЯ ПРОЦЕНТА

(Повесть. Журнальный вариант)

Врачом Игнатьев стал не по призванию, скорее всего, случайно. Медицина интересовала его постольку-поскольку... всю жизнь он мечтал стать журналистом. Еще с пятого класса начал писать стихи, посылая их в пионерские газеты и журналы. Консультанты обнадеживали, находя в них некие «изюминки», «крупинки таланта», и... не печатали.

Позже, когда всю бушевала война и он служил на границе с Маньчжурией, его вновь потянуло к стихам. В них он рассказывал о солдатских буднях, о желанной победе над злым и коварным врагом.

Однажды, отпросившись у взводного лейтенанта Котова и преодолевая страшнейшую робость, пришел со стихами за паузой в дивизионную газету.

Редактор, старший лейтенант, внимательно их прочел и, разгладив пальцем на верхней губе невидимые усы, многозначительно покачал головой:

— Для начала неплохо. Сам писал?

— А то кто же, — с обидой в голосе протянул Игнатъев.

Старший лейтенант посадил солдата за отдельный стол и сказал:

— Ты, наверное, слышал, что наша дивизия на днях выступает на учения. Так вот, нужны стихи — бодрые, энергичные, призывающие бойцов действовать смело, решительно, со смекалкой, словно перед ними настоящий противник... Сможешь дать такие?

Игнатъев поежился, услышав неожиданный заказ, неуверенно пробормотал:

— Попробовать-то можно, но что из этого получится...

— Вот и замечательно! — потирая от удовольствия ладони, воскликнул редактор. — Тогда — пиши. Если получатся — завтра же тиснем в полосу!

Через два часа было написано три четверостишия, он показал их редактору.

— О! Уже хорошо! — похвалил тот, пробежав глазами по строчкам. — Главное теперь — концовка... Говорят, конец — делу венец!

Но как Игнатъев ни бился, концовка никак не шла; ни одна мысль, как назло, не лезла в голову.

На помощь пришел старший лейтенант.

— Знаешь что! — воскликнул он, хлопая себя по лбу. — Мы забыли сказать о главном — о Верховном! Без него нельзя, ведь это он — вдохновитель и организатор всех наших побед!

Наморщив лоб, редактор часто заходил по кабинету, борючая что-то под нос. Внезапно остановился перед Игнатъевым и, закатывая глаза к потолку, громко продекламировал:

Под вечер Сталина приказ
нам перед строем зачитали,
подумал каждый среди нас:
мы мало сопки штурмовали!

— Но и это еще не конец! Нужны, так сказать, ударные, завершающие строчки!

И, снова вперив глаза в потолок, он на минуту-другую

задумался, затем внезапно, с радостным блеском в глазах, воскликнул:

— Слушай, Игнатъев! Конец будет такой:

Довольно медлить, ожидать,
опять в тайгу и сопок дали,—
чтоб научиться побеждать,
как приказал товарищ Сталин!

Игнатъев, раскрыв рот от удивления, зачарованно смотрел на старшего лейтенанта. «Как это у него здорово получается,— завидовал он,— особенно про Сталина. Никогда бы сам не сумел!»

...Через год после окончания войны с Японией Игнатъев демобилизовался, надо было думать о месте под солнцем, о профессии. По совету отца подал заявление в медицинский институт,— он был ближе всех вузов к их таежному поселку.

Таким образом, мечта стать журналистом отодвинулась на задний план.

Первые три курса Игнатъев учился без особого азарта, который бывает у студентов, еще со школьной скамьи решивших посвятить себя любимой профессии. На четвертом же его будто подменили: неожиданно для себя он решил стать акушером-гинекологом; это желание у него возникло после того, как прошел практику в родильном отделении райбольницы. Ему не раз во время дежурства приходилось наблюдать очень трудные роды — тогда он очень жалел рожениц и одновременно удивлялся их великому терпению и мукам! Хотелось избавить их от мук.

Но, увы! Знаменитого акушера-гинеколога из него не получилось — на то были веские причины. Дело в том, что, согласно решению Государственной комиссии по распределению молодых специалистов, он был направлен в распоряжение Министерства внутренних дел.

Как ни противился назначению — ничего не помогло, комиссия осталась непреклонной! И он сдался. Только ниже своей подписи добавил: «Согласен на три года!» Делая такую приписку, Игнатъев наивно полагал, что, отработав положенный срок, он сможет найти себе место по душе.

Айлакан, куда был направлен Игнатъев, оказался тихим, малолюдным городком областного значения. Его окружали безмолвные, горбатые горы, покрытые травой, побуревшей от жаркого, степного солнца. Дома в основном деревянные, среди них затерялось несколько кирпичных, многоэтажных.

В областном управлении внутренних дел, куда Игнатьев пришел на следующий день, начальник отдела кадров майор Зуев вручил ему строгую бумагу.

Это был официальный бланк Министерства внутренних дел РСФСР, который гласил: «Прибывающего к вам врача... Игнатьева Бориса Андреевича направить в тюрьму на должность врача...»

Он несколько раз пробежал по строчкам приказа, все еще не веря своим глазам, пока не убедился, что все написано правильно и касается только его и никого другого. Брыкаться теперь не имело смысла, приказ есть приказ, и его надо выполнять.

На календаре стоял жаркий август 1952 года.

Тюрьма располагалась на окраине города, за нею сразу же начиналась голая степь. Это было старое, из красного кирпича, здание, построенное, как утверждали, еще в начале века. Позже к нему сделали пристройку, обнесли высокой кирпичной стеной.

Рядом с основным корпусом возвышалось двухэтажное деревянное административное здание — в нем-то на следующий день и появился Игнатьев. Через небольшое окошечко, прорубленное в стене, доложил дежурному лейтенанту о цели своего прихода: ему нужно попасть к начальнику тюрьмы.

Майор Углов, полный, лысеющий мужчина с гладко выбритыми щеками, встретил молодого доктора приветливо, спросил, как добрался до города. Игнатьев, поблагодарив, начал было рассказывать, но в эту минуту в кабинет вошла женщина в белом халате. Майор познакомил: Пронозина, тюремный врач — у нее и принимать дела. Дал несколько советов по передаче дел и вскоре отпустил их.

Прежде всего Нина Сергеевна показала Игнатьеву санчасть, место будущей его работы, познакомила со своими помощницами — фельдшером Фаиной Ивановной и дезинфектором Анной Павловной.

— Очень добросовестные работницы, никогда не подвели меня! — отозвалась о них. — Так что оставляю вам надежных помощников!

— Спасибо, Нина Сергеевна, — смущенно пробормотал Игнатьев. — Вы, наверное, правы — на первых порах мне действительно понадобятся знающие работницы. Как я понял, работать придется в обстановке, далекой от больничной.

После того, как был составлен и подписан обоими докто-

рами приемо-сдаточный акт, Пронозина решила показать Игнатьеву одну-две камеры:

— Для вас это будет поучительно!

Выйдя из санчасти, которая помещалась в одной из камер на первом этаже, она повела нового доктора по длинному коридору и, остановившись возле двери одной из камер, попросила надзирателя, молча сопровождавшего их, открыть ее.

Первое, что увидел Игнатьев, переступив порог камеры,— это густые клубы махорочного дыма, поднимавшегося к потолку. Лежавшие на нарах заключенные приподняли головы, с любопытством уставились на вошедших. Некоторые, увидев белые халаты, пососкакивали на пол.

Поприветствовав заключенных и дождавшись, когда стихнет шум, Нина Сергеевна указала рукой на Игнатьева:

— Это ваш новый доктор, Борис Андреевич. Со всеми жалобами отныне обращайтесь к нему. В общем, прошу любить и жаловать!

По камере пробежал легкий гул.

— А вы, Нина Сергеевна, куда?

— Уезжаю в другой город.

Кто-то громко, явно с завистью, шумно вздохнул:

— Везет же людям!

Игнатьев, засунув руки в карманы халата, боялся сделать малейшее движение, чтобы — не дай бог! — не привлечь к себе внимание этой серой безликой толпы, и удивлялся, как легко, непринужденно держит себя Нина Сергеевна.

Между тем, она, поискав глазами кого-то в толпе зеков, удивленно проговорила:

— Не вижу Огнева... Куда он делся? — И, повернувшись к Игнатьеву, пояснила: — Гипертоник страшнейший, хотела показать... Интересный, на мой взгляд, случай — не поддается никакому лечению.

Чей-то вялый голос, нехотя, будто делая одолжение, отозвался:

— Выдернули на суд вашего Огнева, в район увезли.

— Понятно,— медленно протянула Пронозина.— Нам больше здесь нечего делать, доктор, пойдемте дальше.— И, резко повернувшись к молчаливой толпе, коротко бросила:

— До свидания!

Ответ был разноголосым, недружным.

Уже повернувшись к выходу, Игнатьев услышал: «Жаль докторшу — фартовая баба была, добрая. А новый лепила еще неизвестно, что за фрукт. Проверить надо!»

Хотел оглянуться, узнать, кто сказал, и... раздумал. Но голос запомнил: недовольный, скрипучий, слова выговаривает неторопливо, с расстановкой.

Побывали еще в нескольких камерах, и везде одна и та же теснота, а над головами дым коромыслом. «Тут не то что больной — здоровый не выдержит!» — подумал он про себя.

Когда вернулись в санчасть, Пронозина сказала:

— Выслушайте один совет, Борис Андреевич, на прощанье, так сказать... Вы здесь единственный человек, на ком лежит прямая ответственность защищать интересы больного, даже если перед вами неисправимый бандюга... Кроме вас этого никто не сделает! И еще. Не вздумайте идти на поводу у начальства, стойте на своем и действуйте по инструкции, особенно в тех случаях, когда дело касается здоровья людей... При случае, чтобы снять с себя ответственность, пишите рапорт, я испытала этот метод — действует незамедлительно!

Игнатьев недоверчиво покачал головой: неужели нельзя обойтись без бумажной волокиты?

Однако совет запомнил.

Начались будни — серые, надоедливые до умопомрачения, как долгая осенняя слякотная непогода... Промелькнул сентябрь, повеял холодный октябрьский ветер. Из гостиницы Игнатьев переселился в комнатуху с печным отоплением, без водопровода и санузла. Но он и этому пристанищу был рад, главное, теперь ни от кого не зависел.

Понемногу втянулся в работу, но никак не мог привыкнуть к соблюдению режима изоляции, который нередко мешал нормальному обслуживанию больных. В санчасть они попадали только в сопровождении надзирателя, и то не всегда — бывали случаи, когда его назначали с задержкой, а то и вовсе отказывали из-за нехватки людей в дежурных сменах. По этой причине возникало много жалоб на работу санчасти. По каждой приходилось объясняться с Угловым.

...Вернувшись после очередной нахлобучки в санчасть, доктор принялся составлять акт на списание медикаментов, израсходованных за истекший месяц. Его занятие прервала Анна Павловна, которая только что вернулась из карантинной камеры: есть больные, очень хотели видеть врача.

Игнатьев поморщился: «И когда этот людской поток кончится! Только вчера развели по камерам один этап, а сегодня снова полным-полно...» Вслух сказал:

— Хорошо, хорошо, Анна Павловна, схожу обязательно, вот только с актом разделаюсь.

Карантинная камера располагалась в подвальном помещении — довольно просторная, но пригодная лишь для временного содержания людей из-за недостаточной вентиляции, сырости, особенно в холодное время года.

Вновь прибывший этап, как правило, после предварительного медицинского осмотра и соответствующей санобработки, разводили по «чистым» камерам.

Рядом с карантинном располагались камеры-одиночки под номерами 01 и 02, служившие карцерами для нарушителей тюремного режима. Они были заняты, но заключенные, находившиеся в них, в отличие от уголовников, вели себя очень тихо; не шумели, не били иступленно в дверь ногами, требуя к себе то начальника, то врача...

Это были «враги народа», приговоренные к высшей мере наказания — расстрелу. Их дела находились в Москве, которая могла утвердить или отменить приговор областного суда,

Прильнув к «глазку», Игнатъев заглянул в камеру 01. Пожилой, сутулый мужчина, давно не бритый, в старенькой телогрейке, почувствовав на себе взгляд, насторожился, секунду-другую недвижно смотрел на дверь, затем, резко повернувшись к ней спиной, зашагал к противоположной стене.

Заключенный из 02 спал, накрывшись с головой тонким байковым одеялком, на тяжелом деревянном лежаке, сработанном специально для таких клиентов.

Однажды, во время обхода вместе с начальником, Игнатъев полюбопытствовал, за что их обвиняют.

Углов ответил не сразу. Плотно сжав бледные губы, он как-то странно посмотрел на врача и лишь после этого многозначительно изрек:

— Люди, как люди, в общем-то... Сидят по 58-й. Сам знаешь, что эта за статья — контрреволюция. За нее по головке не погладят, скорее, снимут ее... — И после некоторого раздумья добавил: — Тебе одному к ним заходить не положено. Только с дежурным офицером или со мной. В санчасть водить тоже нельзя. Уколы там всякие, перевязки — делай в камере...

Первое, что увидел Игнатъев, переступив порог карантинной камеры, — это серую, безликую массу копошащихся на нарах тел. Немало их, судя по ногам, торчавшим наружу, находилось и под нарами.

Проведя беглый опрос о состоянии здоровья каждого, доктор собрался было покинуть камеру. В этот момент его

внимание привлек парень со вздернутым утиным носом, в блатной кепочке с едва заметным козырьком. Парень стоял вполоборота, изредка бросал на него мимолетные, испытывающие взгляды. Руки держал в карманах брюк, заправленных в аккуратные хромовые сапожки.

Отбивая носками сапог чечетку, он неожиданно обратился к Игнатьеву:

— Доктор! У меня психоз, невроз, припадки... Что будете делать со мною?

Сказав это, парень, не отводя наглого взгляда, уставился на Бориса Андреевича.

Игнатьев догадался, что перед ним блатной, который решил испытать его провокационным вопросом: мол, как он отреагирует на это?

— Ну и что с того, что у тебя «психоз, невроз, припадки»? — пожал плечами, как можно равнодушнее произнес доктор. — У меня самого бывают припадки, когда кто-нибудь обидит, и, как видишь, ничего, не пропал, живу до сих пор... Так что здорово не переживай! А если и психанешь — выпей стакан холодной воды, как рукой снимет!

Кто-то из заключенных громко расхохотался, а парень, изобразив на лице кислую мину, недовольно пробормотал:

— У вас правды не найдешь... Я знаю. — И спрятался за чью-то широкую спину.

Покинув душную, насквозь прокуренную камеру, Игнатьев поднялся к себе наверх, в санчасть. Пожалуй, во всей тюрьме это было единственное помещение, своего рода спасительный оазис, где воздух был относительно чистым и в нос не бил специфический тюремный запах: смесь махорочного дыма, мужского пота и дуста, который, наряду с хлорной известью, широко использовался как дезинфицирующее средство при обработке помещений и постельных принадлежностей...

Едва развернул свежий номер газеты, как дежурный старшина Кириллов с порога его кабинета сообщил:

— Борис Андреевич! К вам Рогачев из хозобслужбы хочет попасть, говорит, сильно палец болит.

При беглом взгляде на левую кисть больного, отечную, синебагровую, Игнатьев понял, что ничем не сможет помочь: больного нужно немедленно везти к хирургу. Он направился к начальнику договориться насчет конвоя.

Майор Углов начинал службу в органах МВД обыкновенным охранником в лагере, или, как их еще называли, «вох-

ровцем»; неспешно карабкаясь по служебной лестнице, он наконец достиг последней ступени — стал начальником тюрьмы. На более высокую должность у него не хватило ни образования, ни душевных сил — годы не те. Менее чем через год он уходил на пенсию, и это обстоятельство превратило его в осторожного, боязливого служаку, который не желал рисковать положением, материальным благополучием.

Только что Углову принесли стопку писем заключенных, которые он, прежде чем отправить по адресам, должен был внимательно прочесть.

За этим весьма скучным занятием и застал его Игнатъев.

— Что у тебя стряслось, доктор? — спросил Углов, мельком взглянув на вошедшего Бориса Андреевича. — Без начальника шагу ступить не можешь.

— Стряслось, товарищ майор... У Рогачева обширный абсцесс левой кисти, дальше тянуть нельзя!

— А я-то причем? Лечи! Ты доктор, тебя пять лет этому учили, — удивленно уставился на него Углов.

— Конечно... учили, Иван Семенович, — шумно выдохнул Игнатъев. — Только Рогачеву нужен хирург, а я всего лишь терапевт — скальпелем не владею. Короче, товарищ майор, нужен конвой, чтобы свозить больного к хирургу.

Углов недовольно поморщился. Глядя на доктора снизу вверх, сквозь зубы проговорил:

— Ничем не могу помочь... Да ты и сам в курсе наших дел — нету людей, впору хоть самому идти в конвой!

Это была отговорка, а точнее, отказ, ловко упакованный в оболочку из обтекаемых, ничего не значащих слов. Иными словами, Рогачева еще на сутки-двое оставляли без помощи хирурга. На это Игнатъев пойти не мог, так как не было полной гарантии, что у больного не начнется общее заражение.

«Где же выход?» — лихорадочно соображал Игнатъев и вдруг вспомнил совет Прозожиной.

— Ну, если так, товарищ майор, — пожал плечами Игнатъев, — то мне ничего не остается, как подать рапорт на ваше имя. И... отвечайте за больного сами, а я умываю руки.

При этих словах он направился к выходу.

— погоди! — остановил его Углов. — О каком рапорте ты говришь? Ты особенно-то не кипятись, — заерзал на стуле майор. — Сядь, охлонись малость, может, что и придумаем. Щас вызовем дежурного лейтенанта.

Когда тот через несколько минут предстал перед ним, приказал:

— Кровь из носу, а доктору выдели конвой — пусть свозит больного к хирургу!

— Есть!

— А не выделишь — сам конвоируй! — вслед ему крикнул Углов.

Всего лишь час потребовался для того, чтобы свозить больного к хирургу, вскрыть нарыв и вернуться обратно.

«Нет, не из храбрецов наш майор, — сделал для себя вывод Игнатьев. — Как огня, боится ответственности!»

Незаметно пролетел декабрь, наступил январь 1953 года. Игнатьев к этому времени вполне, как ему казалось, освоился с положением тюремного врача. Этому немало способствовало еще и окружение людей, с которыми общался ежедневно с утра до вечера. Лечил он преступников, людей, вольно или невольно вступивших в противоречие с законом, у которых в стенах тюрьмы все чувства обострены до предела, чуть-чуть затронь и... взорвется! И что характерно, дома, в привычной обстановке, на свои болезни они совсем не обращали внимания. О них и думать было некогда, отвлекали работа, ежедневные мелочи жизни, заботы. А здесь, в четырех стенах, недуги вдруг наваливались разом. Конечно, таким больным Игнатьев старался помочь и от души радовался, когда его лечение приносило очевидную пользу.

И тем не менее, много помех и осложнений в работе создавали симулянты. Как правило, это были люди со слабым типом нервной системы; многие из них, чтобы хоть как-то облегчить свое положение, отключиться от действительности, употребляли те или иные сильнодействующие препараты, наркотики. Большим спросом, например, пользовались таблетки от кашля, снотворные, различные психотропные средства.

Эти люди так искусно изображали кашель, который, по их словам, буквально раздирал грудь на части, или с жаром рассказывали доктору, какая у них «страшнейшая бессоница вот уже третью ночь», что он невольно начинал им верить. Но эта вера держалась недолго — пока он не понимал, что его надували, вымогая сильнодействующие средства.

Много хлопот доктору доставляли люди, пристрастившиеся к морфию. И что удивительно, в институте лекторы упоминали о морфинистах вскользь, мимоходом, искривленно считая, что это зло у нас носит единичный, спорадический характер, а посему, дескать, стоит ли о нем громко говорить.

Однако преподаватели ошибались! Немало наркоманов появились в годы войны. И виноваты в этом были медики, которые для успокоения болей у раненых сплошь и рядом прибегали к уколам морфия. Стоило уколиться два-три раза, как у человека возникало к нему влечение, от которого почти невозможно было потом избавиться. Став морфинистом («сев на иглу»), человек волей-неволей искал себе партнера, соучастника, с которым мог бы разделить свою страсть. Так наркомания расползлась по всей стране.

Особенно широкое распространение она получила в местах заключения. Что это так — Игнатьев убедился уже в первые дни работы в тюрьме.

...Прошло три дня, как Трахунова привезли в тюрьму. До этого он четверо суток провел в городском КПЗ. И все эти дни, преодолевая страшнейшую боль, ломоту в суставах, он терпел, не записывался на прием к врачу. Не выдержал, подсел к дверной форточке, несколько раз негромко постучал пальцем.

Надзиратель долго не подходил к их камере, наверное, не слышал, был в другом конце коридора... Наконец форточка открылась, из нее послышался недовольный голос:

— Кому там нейметесь? Что надо?

— Гражданин начальник, — жалобно протянул Трахунов, высунув голову из форточки, — мне надо попасть к врачу. Терпения никакого нету.

— Ладно, жди... Доложу старшине, — буркнул надзиратель и захлопнул перед его носом форточку.

Вскоре заключенный сидел перед доктором на стуле, подперев голову обеими руками, изредка вытирая ладонью бисеринки холодного пота, выступавшего на лбу.

— Что случилось?

Трахунов ответил не сразу, видимо, боялся открыть всю правду; затем, откинувшись на спинку стула, с мольбой посмотрел на Бориса Андреевича:

— Сделайте... укол, гражданин доктор. Очень прошу... Четыре дня промаялся в КПЗ, да у вас уже третьи сутки... Все болит, места не могу найти, хоть на стенку лезь!

Доктор заметил, как при этих словах Трахунов, опустив голову, незаметно смахнул ладонью со щек набежавшие слезинки.

— И давно колешься?

— Пять лет... Сколько раз хотел бросить и... не могу. На воле колелся два-три раза в день.

Борису Андреевичу стало жаль парня, который, судя по трясущимся рукам, гримасам на лице, переносил жесточайшие физические муки, связанные с морфинным голоданием. Знал: в подобном состоянии с больным может случиться все, что угодно, вплоть до внезапной смерти от остановки сердца. Поэтому он как врач должен был немедленно оказать ему помощь, а затем уже лечить как хронического наркомана.

Открыв сейф, он вынул из пакетика одну ампулу морфия.

— Засучи рукав!

— Вы хотите под кожу?!— удивленно воскликнул Трахунов.

— Конечно.

— Не надо под кожу, гражданин доктор!— неожиданно захныкал он.— Очень прошу вас, сделайте внутривенно, а то «прихода» не почувствую!

Игнатьев возмутился — какой-то наркоман будет командовать, как ему вводить лекарство!

— Никаких «внутривенно»!— со злостью выкрикнул он.— Выбирай: или под кожу, или — никак! У меня нет времени с тобой рассусоливать... Не один ты такой!

— Тогда... Тогда разрешите, гражданин доктор, я сам,— умоляюще глядя на него, проговорил Трахунов.

— Как сам!— удивленно воскликнул Борис Андреевич.

— Да, сам. Не хуже вашего сделаю, дайте, пожалуйста, шприц!

Любопытство взяло верх, и он протянул шприц Трахунову:

— Ну, коли так — попробуй... Я посмотрю.

У Трахунова пальцы тонкие, длинные, такие бывают у музыкантов и у... воров. Засучив рукав на левой руке, он, осторожно двигая поршнем, удалил из шприца воздух, после чего оголенную руку зажал между колен... Под кожей, в локтевой ямке, ясно обозначилась вена.

Точное, рассчитанное движение — и шприц розово окрасился изнутри: признак того, что игла попала в вену. Осталось самое главное — без спешки, медленно ввести морфий в вену. Но тут произошло невероятное: Трахунов, вопреки всем правилам и законам медицинской науки, с силой нажал на поршень.

— Ты что наделал?— накинулся на него Игнатьев.— Кто так вводит лекарство?

— Не бойсь, гражданин доктор!— усмехнулся Трахунов.— Это у шпаны называется — уколоться «с ветерком». Чтобы, значит, кайфу было больше.

Через минуту зека было не узнать: вместо вялого, еле передвигающего ноги, старообразного молодого человека, перед доктором сидел бывалый малый, которому сейчас все было нипочем, и весело рассказывал, как и за что он попал в тюрьму... Следующим ввели Овечкина. Это был тот самый вихлястый зек, который еще в карантине объявил, что у него «психоз, невроз, припадки».

Игнатъев показал ему на стул:

— Садись и рассказывай, что болит!

Парень неторопливо сел, цигейковую шапку, изрядно поношенную, положил рядом с собою на кушетке.

— А что рассказывать, гражданин доктор?— задрал верху подбородок, прохрипел он.— У меня, понимаешь, все болит. И внутри, и снаружи. Вот смотри!

Сказав это, Овечкин неожиданно задрал подол рубашки до подбородка, обнажив голый живот, весь помеченный следами заживших рубцов. Одни из них были совсем свежие, ярко-красные, другие — давние, блеклые.

— Кто это тебя так?— не скрывая удивления, спросил доктор.— Неужели сам?

— Сам.

— Выходит, ты и в самом деле психованный, если так дико живот расписываешь,— задумчиво протянул доктор.

— А как же,— криво усмехнулся Овечкин.— С двенадцати лет остался без отца и матери. Тогда и познакомился с КПЗ. Вот, значит, с той залетной поры, доктор, я эти самые рубчики и делаю. Себе на память, чтобы не забывалось...

— Тебе сколько сейчас, Овечкин?

— Двадцать девять...

— Не завидую тебе. Неинтересную жизнь ты ведешь,— задумчиво протянул врач.— Ну, да ладно, это так, между прочим... Выкладывай, зачем записался?

— Живот болит, гражданин доктор. Как поем, так и болит.

Приказав Овечкину лечь на кушетку и тщательно пропальпировав живот, Игнатъев нашел у него признаки хронического гастрита и холецистита.

— Несколько дней попьешь таблетки, а там посмотрим, что делать дальше...

— Не надо таблеток, гражданин доктор,— недовольно поморщился пациент,— они не помогают. Мне бы капель, каких...

— Каких же?

У Овечкина загорелись глаза :

— Ну, эту... как ее... настойку. Дома ею спасался.

Игнатъев понял — речь шла о настойке, которая была в большом ходу у зеков. Не исключено, что Овечкин за годы скитаний по лагерям и по тюрьмам пристрастился к ней. У Игнатъева был небольшой пузырек этой настойки, и капли прописывал больным в исключительных случаях, строго по медицинским показаниям. Дай он сейчас Овечкину несколько капель — сядет на шею и будет ради них ежедневно записываться в санчасть.

— У нас такой настойки нет,— пошел на прямой обман доктор.— Было немного, да всю израсходовали.

— Жалко,— уныло протянул Овечкин.— Шибко стоящее лекарство... А может, все-таки, доктор, где-нибудь в за-начке есть, а?— не теряя надежды, спросил он снова.

— Только таблетки и ничего другого,— не сдавался Игнатъев.

Во время разговора он неожиданно обратил внимание на то, как правая рука Овечкина медленно потянулась к шапке, лежавшей возле него на кушетке.

«Что он делает?— с недоумением подумал доктор, продолжая следить за движением руки.— Неужели хочет украсть... у себя?»

Прошла минута-другая. И вот пальцы, наконец, коснулись шапки — черной тенью в одно мгновение она исчезла за спиной Овечкина.

«Клептомания — болезненная тяга к воровству!» — вспомнил доктор строчку из учебника психиатрии.

— Тренировка? Сам у себя шапку воруеть?— насмешливо спросил врач. Однако вместо ответа услышал раскати-стое:

— Гы-гы-гы!— мол, считайте, как хотите, для него все едино, что в лоб, что по лбу.

После этого, громко шмыгнув носом, покрутив круглой стриженной головой, зек неожиданно предложил:

— Хотите, доктор, лампочку съем?

Игнатъев удивленно пожал плечами: как это можно съесть лампочку, если она совершенно несъедобна?

— Не верите? Тогда выверните вон ту, у вас над головой.

— Стоит ли, Овечкин. И потом ты не в цирке, аплодисментов от меня не дождешься... Возьми вот таблетку и айда в камеру. Фаина Ивановна будет приносить их каждый день.

Положив таблетку на ладонь, Овечкин долго ее рассмат-

ривал, затем, подбросив высоко вверх, поймал широко раскрытым ртом. Раздалось громкое хрумканье.

После Овечкина Игнатьев принял еще троих больных. Ничего серьезного у них не нашел, кроме респираторных заболеваний, которыми в зимнее время в тюрьме переболел каждый второй. Причины были известны: длительное пребывание в закрытом помещении, однообразное питание, постоянное стрессовое состояние...

Наступил март: ярче светило солнце, неумолчно звенела капель с крыш, начал таять снег на улицах.

Файна Ивановна и Анна Павловна, когда с утра все были в сборе, откровенно намекнули Игнатьеву насчет Восьмого марта — они желали бы встретить праздник в кругу своего маленького коллектива.

Игнатьев, ответил полушутя-полусерьезно, но твердого слова не дал — сомневался: считал, что ему как их начальнику, пусть даже маленькому, неудобно будет находиться с ними за общим столом. И неизвестно еще, как их мужья посмотрят на это застолье. Не дал твердого согласия еще и потому, что у него на праздник наклеывалась молодежная компания. Организовал ее Антонов, врач городской санэпидстанции, с которым они прибыли в этот город почти одновременно и даже некоторое время жили в одной гостинице. Придут еще две-три медички, с которыми Игнатьеву «нужно непременно познакомиться», а главное, «их общество почитит своим присутствием прокурор», год назад окончивший институт и тоже прибывший сюда по распределению. Игнатьев обещал принять участие, если не произойдет чего-либо непредвиденного.

...Смерть Сталина потрясла Игнатьева своей неожиданностью, он наивно верил, что вождь будет жить вечно, во всяком случае, переживет их всех.

В тот мартовский день было слишком тепло, всюю капало с крыш, стая воробьев возбужденно верещала на голых ветвях старого высокого тополя перед самым окном...

Начальник областного УВД полковник Муравьев, сообщив собравшимся печальную новость, не пытался смахнуть со щеки слезу. Игнатьев низко опустил голову, хватал воздух маленькими глотками, словно рыба, выброшенная на берег. Одна из женщин, шмыгая носом за его спиной, горестно приговаривала: «Как теперь-то будем жить без него?..»

В стране был объявлен четырехдневный траур. Углов строго предупредил всех сотрудников: никаких увеселений в эти дни не устраивать, а тем более Восьмого марта.

Игнатъев пожалел вместе со своими дамами по этому поводу. Однако утром Восьмого марта к нему неожиданно появился Антонов и категорически предупредил, чтобы вечером был у него, как штык: «Малость посидим, поговорим о том, о сем...Иосиф Виссарионович, поди, не обидится на нашу всельность. Да и помянем его заодно!»

Вечеринка Игнатъеву не понравилась. Наверное, оттого, что на ней оказалось много незнакомых людей, а он по натуре был не очень-то разговорчивым. Попытался ухаживать за тонкорукой соседкой Ириной, врачом из вендиспансера, но та, непонятно по какой причине, пересела на другое место.

Подвыпивший прокурор, блондин лет тридцати, в форменном пиджаке, громко рассказывал о судебном процессе, на котором выступал в качестве государственного обвинителя. Взяв в руки полную рюмку водки, он хвастливо провозгласил:

— По такому случаю я хочу выпить за то, что вчера засудил одного типа на десять лет!

Никто его не поддержал, водку пришлось пить одному. На секунду над столом повисла тишина, все как-то притихли, присмирели, уткнулись в тарелки...

Через несколько минут, сославшись на неважное самочувствие (скорее всего, из-за обиды на холодность девушки Ирины), Игнатъев покинул вечеринку.

Прошло несколько дней после траура, а в жизни Игнатъева ничего не изменилось.

По-прежнему он ровно к девяти приходил на работу, усаживался за свой однотумбовый стол и начинал принимать больных по списку, который приносили в санчасть. Терпеливо выслушивал жалобы, похожие одна на другую, просьбы, которые не всегда мог выполнить. Некоторые больные шепотом спрашивали: как там насчет амнистии — что-нибудь слышно?

Игнатъев отвечал, что высокое начальство о своих планах ему не докладывает, и он ничего не знает.

— Обязательно должна быть, а как же! — утверждали пациенты, не добившись от доктора вразумительного ответа. — Чтобы смерть вождя да не отметили — такого не может быть!

Большинство зеков вслагалало на амнистию надежды, в камерах только о ней и шел разговор. Прикидывали: кто пойдет, а кто не пойдет на волю.

Однако жизнь в тюрьме и за ее пределами продолжала идти своим чередом, раз и навсегда заведенном при жизни вождя. К немалому удивлению Игнатъева, он и мертвый продолжал сурово и беспощадно наказывать тех, кто посмел неodobрительно отозваться о нем самом и его делах.

Вот сидит перед Игнатъевым маленькая женщина со сморщенным усталым лицом и жалуется на колющие боли в области сердца, периодические приступы головной боли. Больше — ни на что. А надо бы... В тюрьму попала по своей простодушности. А случилось вот что. В день Восьмого марта она, будучи под хмельком, позволила в узком кругу неodobрительно стозваться о вожде: мол, ничего хорошего она и ее семья от Сталина никогда не имели... И уже через несколько дней она сидела перед следователем, который упорно пытался у нее: так или не так она говорила про вождя? Она не выдержала, призналась. А потом... Потом состоялся суд, который определил ей меру наказания — десять лет лишения свободы.

«За что?!» — недоумевал Игнатъев, впервые выслушав невеселый рассказ женщины. Конечно, он в законах разбирался плохо, но как врач считал, что для такой слабой и болезненной женщины подобное наказание равноценно смерти. Понятно, о своих наблюдениях Игнатъев не сказал ей ни слова, даже не посочувствовал, посчитав это бесполезным занятием — кому нужно его сочувствие! Его дело — давать таблетки, делать уколы, в общем, лечить по мере возможностей и... не совать нос туда, куда не положено.

Когда началась амнистия, о которой зеки давно прожужжали уши, все в тюрьме, в том числе и Игнатъев, облегченно вздохнули. В камерах осталось лишь несколько десятков человек, из тех, кто совершил особо опасное преступление или у кого по тем или иным причинам затянулось следствие...

Тюрьма пустовала около месяца, затем стали привозить людей по одному или группами — из города, из районов области. Много было из только что освобожденных по амнистии. Опять прибавилось работы. Даже ночью стали вызывать к больным. Не всегда эти вызовы были оправданы. Особую хитрость проявляли наркоманы, и все для того, чтобы получить у Игнатъева или Фаины Ивановны одну-две таблетки «моргаликов» — так они называли сильнодействующие препараты.

Вот и на этот раз Игнатьева неожиданно — в двенадцатом часу ночи — вызвали из дому к заключенному, сидевшему в карцере за какую-то провинность. Доктор хорошо знал его. Это был еще молодой человек, весьма вертлявый, словоохотливый, постоянно выдумывающий несуществующие болезни и потому не вылазивший из санчасти. Сидел он за воровство четвертый или пятый раз.

Ключников был в камере один. Он сидел на голом деревянном лежаке и нетерпеливыми, горящими глазами смотрел на входившего к нему врача. В сгорбленной фигуре зека Игнатьеву показалось что-то неестественное, необычное. Сдерживая раздражение, сквозь зубы спросил:

— Зачем вызывал? Отвечай быстрее...

Подойдя поближе к Ключникову, увидел на его низком лбу бисеринки холодного пота. Парень тяжело, через силу, дышал.

— Я проколол гвоздем легкое,— услышал в ответ.

Казалось бы, многое успел повидать доктор почти за год работы в тюрьме, и многому перестал удивляться — свыкся, стерпелся, но чтобы вот так запросто протыкали собственную грудь гвоздем!..

— Сними рубашку.

Ключников быстро сбросил рубашку, обнажив впалую грудь: выколотый орел на ней уносил в цепких когтях несчастную жертву. Слева под ключицей Игнатьев заметил значительную припухлость. Под пальцами она издавала характерный звук поскрипывания снега — первый признак того, что воздух из легкого проник под кожу через раневое отверстие.

Игнатьев присел рядом с парнем, молча обдумывая сложившуюся ситуацию. «Гвоздь повредил легочную ткань,— размышлял он,— но не настолько серьезно, чтобы вдаваться в панику. Ключников — тертый калач, знал, на что шел, наверное, это у него не первый раз.» — Вспомнив из курса хирургии, что полагается делать в подобных случаях, Игнатьев наложил на ранку пластырь, дал несколько таблеток пенициллина и норсульфазола, холодную грелку и велел соблюдать полный покой. Перед уходом не вытерпел, спросил:

— Может, теперь скажешь, что вся эта петрушка значит?

Ключников криво усмехнулся, не сразу ответил:

— Я к вам сегодня записывался, доктор, а вы почему-то меня не вызвали.

— Не принял потому, что тебя не было в списке. Об этом надо спросить у старшего...

— У меня сегодня день рождения, доктор.

— Ну и что? Я-то здесь при чем! — удивленно воскликнул Игнатъев. — И при чем здесь твой день рождения?

Ключников на минуту задумался, потом неожиданно выпалил:

— Хотел попросить таблетки от кашля... Короче, доктор, хотел по этому случаю кайфануть.

Игнатъев понял: речь шла о таблетках, в состав которых входил один из компонентов опия-сырца. Они свободно продавались в аптеках. Любители «побалдеть» на воле применяли их, как и другие суррогаты, чтобы заглушить болезненную тягу к наркотикам.

— Мне бы штуки две-три, доктор, — канючил зек. — Кашель чтоб предупредить. Я знаю, при ранениях легкого всегда дают их.

Доктор удивленно покачал головой:

— Видно, не первый раз пробиваешь легкое?

Ключников поморщился, будто получил неожиданный укол в спину, но промолчал, давая понять Игнатъеву, что его вопрос — холостой выстрел.

— Ладно, — сказал Игнатъев, поднимаясь с лежака. — Дам тебе таблеток, но это будет в последний раз. Следующий номер у тебя не пройдет! Если бы не поврежденное легкое — попросил бы начальника наказать тебя за членовредительство.

Ключников с хмурым выражением на лице выслушал угрозу врача, вяло отмахнулся рукой:

— Не пугай меня, доктор. Твое дело — лечить. А отчего заболел — пусть начальник разбирается. Понял?

Было около часу ночи, когда Игнатъев вернулся домой. Долго не мог заснуть, размышляя над вопросом: почему человек, не однажды судимый, так называемый рецидивист, буквально издевается над собой? Неужели три таблетки кодтерпина стоят того, чтобы решиться на прокол легкого?

В конце мая Игнатъев, придя на работу, неожиданно для себя узнал, что вместо Углова назначен новый начальник тюрьмы — майор Ключев, Федор Иванович. До этого он служил в местном лагере оперативником. Углов же под конец, и это видели все, обязанности исполнял кое-как, снизил требовательность к подчиненным...

Майор Ключев был много моложе Углова, в службе — энергичнее, напористее. Выбившийся из простых надзирателей в начальство, он знал цену себе и тем, кто умел слушать, а

главное, исполнять волю руководства. Одним словом, был служака. На малейшее нарушение тюремного режима со стороны заключенных реагировал однозначно: немедленно сажал в карцер. Иных методов воспитания не знал или не хотел знать. Для него заключенный был человеком второго сорта.

Особенно не терпел, как он говорил, блатную шпану. И та его боялась, хотя позаглаза поносила всячески. Майор об этом знал и, казалось, этим обстоятельством был даже доволен.

Приняв бразды правления в свои руки, Ключев завел за правило раз в неделю делать общий обход тюремных помещений. Как обычно, в его «свиту» входили дежурный помощник, кто-нибудь из медиков и старший лейтенант Костылев — предприимчивый, вездесущий начхоз, который, казалось, мог достать все, кроме, разве, птичьего молока.

В руках у Ключева записная книжка, в которой он помечает обо всех обнаруженных недостатках. Зеки уже навели порядок — заправили постели, из продуктовых ящичков убрали все лишнее.

Зашли в первую камеру, дверь которой услужливо открыл дежурный надзиратель. Ключев терпеливо, с хмурым выражением лица, ждал, пока все заключенные не выстроятся перед ним и его спутниками. Когда же наступила тишина, дежурный по камере Серов, худой прыщеватый парень, заикаясь и глядя куда-то в пол, доложил, что в камере десять человек и никто никуда не убыл.

Скользя взглядом по их лицам, Ключев спросил:

— У кого ко мне есть вопросы, жалобы?

Жаловались, как обычно, на затянувшееся следствие, на то, что долго не вызывают в суд, хотя «обвинилка» давно уже на руках. Все это майор записал себе в блокнотик:

— Проверю, разберусь... Еще какие будут вопросы?

Их оказалось довольно много: почему с прогулки уводят раньше положенного времени? почему нерегулярно работает библиотечка? почему вторую неделю нет бани?..

Неожиданно майор резко спросил дежурного:

— Ты сегодня уборку делал?

— Делал, гражданин начальник.

— А почему в урночке вода?

Дежурный растерянно посмотрел в угол, где стояла урна.

— Не знаю, гражданин начальник. Кто-то уже успел налить...

Майор, пожевывая в углу рта дымящуюся «Беломорину», со злостью выпалил:

— Вот возьму эту урночку да надену на твою дурную голову — тогда уж точно будешь знать, кто налил! Чтоб немедленно навел порядок, понял?

— Понял, гражданин начальник, — пролепетал заключенный.

Больше не сказав ни слова, майор повернулся и вышел из камеры. За ним потянулись остальные.

Обход продолжался около трех часов, чувствовалось, что все порядком устали, надышавшись спертого тюремного воздуха. Остался только подвал. Все спустились вниз по лестнице, оказавшись в прохладном коридоре, освещенном одной электрслампочкой. Дежурный по подвалу старшина Тихонов доложил Ключеву, что у него «на посту все в порядке, происшествий нет, заключенные в камерах 01 и 02 сидят спокойно». Карантинная камера на этот раз пустовала.

— Зайдем сначала сюда, — сказал майор, кивнув на дверь с номером 01. — Посмотрим, как у них настроение!

Игнатьев усмехнулся про себя: какое может быть настроение у приговоренного к «вышке»?

Пока открывали дверь, которая была заперта на два замка, внутренний и висячий, Игнатьева все время не покидало странное чувство удивления перед узниками этих камер: самообладание, выдержка не оставляли их ни на минуту на протяжении многих месяцев. Сидят тихо, спокойно и не пускаются, как некоторые, в истерику. Наверное, привыкли к мысли о неизбежности смерти.

...Заключенный Кыргыз, будучи председателем колхоза, допустил большой падеж скота. Кое-кто расценил это как вредительство. Следовательно, разбирая его дело, не счел нужным обратить внимание на тот факт, что падеж скота в ту злосчастную зимовку был не меньшим на всей территории района.

— Как дела, Кыргыз? — вежливо спросил Ключев. — Может, тебе что надо, так ты скажи, чем можем — поможем...

— Ничего не надо, начальник. Все хорошо. Кушать, пить три раза в день дают... Жить можно.

— Ну, может, каких таблеток надо? Наш доктор всегда поможет, — майор кивнул на Игнатьева.

— Спасибо, начальник. Пока не надо. Вот подожду, какой Москва ответ пришлет, а там погляжу. Недолго осталось ждать!

В соседней камере, 02, сидел бывший зампредседателя райисполкома Анай-оол, пожилой мужчина небольшого роста, с внимательным взглядом умных глаз. Тоже кому-то перешел дорогу, посчитали врагом народа, хотя всю жизнь тельско и занимался тем, что пекся о нуждах своих земляков.

На вопрос начальника о самочувствии Анай-оол ответил: какое может быть самочувствие в этом каменном мешке, если нервы напряжены так, что при малейшем шорохе сердце готово выпрыгнуть из груди.— Однако,— продолжал он,— я уже привык, мне кажется, все так и надо.

Клюев, выслушав заключенного, неожиданно спросил:

— А все-таки, Анай-оол, скажи — у тебя есть надежда, пусть даже самая маленькая, что приговор отменят?

— Скажу вам так, гражданин начальник: человек никогда не должен терять надежды... Даже если ее, надежды этой, осталось совсем ничего — одна сотая процента. Если бы весь год, что просидел тут, я не надеялся, то сейчас не стоял бы перед вами.

— Ну что же,— задумчиво протянул майор.— Резонно. Коли так, тогда... тогда надейся на эту «одну сотую процента».

Анай-оол ничего не ответил.

Как-то во время обеденного перерыва Игнатъев услышал по радио правительственное сообщение о состоявшемся пленуме ЦК КПСС и узнал, что Берия, министр внутренних дел, сказался врагом Коммунистической партии и советского народа, а дело о его преступных действиях передано на рассмотрение Верховного суда СССР.

Сообщение породило разброд в голове доктора, не слишком-то разбиравшегося в обстановке, сложившейся в стране после смерти вождя... Неужели Сталин был настолько слеп, что не замечал ничего криминального в действиях Берии? Ответа на этот вопрос доктору никто, даже майор Клюев, не мог дать.

И тем не менее, Игнатъев видел, что люди выглядели как-то иначе: глаза их посветлели, плечи расправились...

И в тюрьме появились приметы нового: неожиданно, после года заточения в одиночках, Кыргыз и Анай-оол были освобождены под чистую в связи с прекращением их дела. Анай-оолу даже выплатили компенсацию за время вынужденного пребывания под следствием, дали путевку на курорт.

Близился Двадцатый съезд партии...

□

КРЕЩЕНДО КОЛОКОЛОВ

(Ночной диалог с Дьяволом)

Я смотрел на него, как, наверное, тыщу лет назад смотрели на языческого бога. В его лике было много неземного, пстустороннего, идолического. Властным взглядом он сковывал мою волю, пригвождал к полу, лишая малейшего желания к протесту, неосторожному движению тела, головы, бровей.

«Замри!» — приказывал гипнотический взгляд, и я охотно подчинялся заклинанию. «Ты — раб!» — лилось тягучим потоком из его широко раскрытых глаз, и я беспрекословно соглашался: «Да, я — раб!»

Колени привычно подгибались, спина склонялась в безропотном поклоне, ладони складывались в молитвенном жесте — и вот уже все мое тело распростерлось ниц.

Я боялся поднять голову; казалось, одно неосторожное движение — и стрелы-молнии из его глаз навсегда пригвоздят мое тело к полу, пронзят насквозь, сожгут, испепелят, превратят в горстку медленно остывающего пепла.

И тогда, будто кто нашептал на ухо, на память пришли слова языческой молитвы: «Смилуйся, владыка! Я — червь у ног твоих. Смилуйся и защити!..»

Он молчал. Он слушал. Должно быть, решал мою участь: быть мне испепеленным в один миг, чтобы уже никогда более не мучиться, или быть мне живу, но мучиться до окончания дней? Мне хотелось и того, и другого. Я был согласен на мгновенную смерть и я был согласен на долгие муки — хотелось в равных частях и того, и другого.

Наверное, это несуразное желание поставило моего повелителя в тупик, потому что он не спешил с возмездием; робкая надежда затеплилась в душе — надежда на снисхождение к моему великому прегрешению. В том, что мой судия ведал о нем, знал всю глубину моего грехопадения, я не сомневался и потому был согласен на любую кару.

Что же он медлит?

Я приподнял голову и робко, снизу вверх, глянул на него. Ничто не изменилось в его лике, лишь резче обозначились властные складки у губ, прибавилось каменной тяжести в подбородке; в глубинах его зрачков можно было прочесть все, кроме помилования.

«Я — червь, я — раб!»

Надеяться на помилование было, наверное, большим грехом, чем тот, что я уже совершил. И все же нерешительность, так несвойственная ему при жизни, когда он властвовал и управлял судьбами мира — достаточно лишь было шевельнуть пальцем,— эта его странная медлительность подогривала во мне слабую надежду. Надежду — на что?

Был момент, когда мне показалось, что все в мире остановилось, оцепенело, замерло под его пристальным, немигающим взглядом; Вселенная прервала свой бесконечный бег, еще миг — и она обрушится с небесных высот, рухнет в тартарары, исчезнет в вареве ада. («Бо-ом!» — больно отозвался в душе одинокий колокол).

«Смилуйся и защити!»

Он никак не отзывался на мою мольбу. Он был неумолим и непреклонен в своей концентрированной воле вершителя людских судеб. Ничто не могло помешать замысленному им, а тем более — я, маленькая букашка у ног исполина, которую, наверное, и раздавить-то было хлопотно; не стоило тратить усилий для этого — так он, наверное, решил, ибо я и без того уже был раздавлен, растерт, и от меня, должно быть, осталось одно мокрое место; осталось лишь начисто стереть меня с лица земли, как это делает дворник, метлой сметая с тротуара плевок прохожего. «Смилуйся и защити!»

«Встань!» — наконец снизошел он к моей мольбе.

Не ослышался ли?

«Встань!» — властно повторил надо мной Голос. Изможденное тело плохо слушалось меня, сил хватило лишь приподняться на колени; шея плохо держала голову, ей удобнее было покоиться на полу, а еще лучше отдельно от немощного тела.

«Хочу спросить тебя», — гневно сузились зрачки повелителя.

Он медлил с вопросом, мне даже послышалось, будто он в раздумье почмокал губами, должно быть, размышлял: не принизит ли его самого это неожиданное желание? Желание снизойти до вопроса к жалкому существу, в котором человеческого осталась одна лишь видимость, телесная оболочка — и только? Не таит ли в себе это его странное желание какой-либо опасности? Должно быть, сомнения уступили место властному куражу, и он твердо повторил: «Хочу спросить тебя. Ты и вправду веришь... в меня?»

«Отец наш!..» — дернулся я к нему всем телом, но он

властным движением маленькой сухой руки остановил мой порыв.

«Ты все еще веришь?»

«Молюсь!— ладони мои вновь сомкнулись в молитвенном жесте. Лбом я гулко стукнулся о половицу.— Отец наш!»

Легкая улыбка тронула его губы, но глаза оставались холодными.

«А другие — как?»

«Другие?.. За других не знаю».

«Не лги! Ты — старый человек. Не лги мне, твоему повелителю. Ну!»

«Помилуй и защити!— принялся я было за свое, но осекся под его ледяным взглядом.— Ладно. Будь по-твоему. Только... что мой глупый язык скажет умного?»

«Говори!»

«Не гневайся... Мало нас осталось, послушников твоих... Рушится мир вокруг, ничего святого не осталось на земле. Нашлись и такие, что готовы прах прародителей растоптать, смешать с дерьмом, лишь бы утвердиться самим. На кого замахнулись?! Эх, тебя нет, отец! Уж ты бы их!..» — Он посмотрел на меня так, что язык мой разом одеревенел. Голова вновь налилась немотой, ее неодолимо потянуло к полу.

«А ты?— властно остановил он.— Ты, выходит, святой? Если такой расхороший, что ж на попятную пошел, а?»

«Прости, отец!— вновь больно стукнулся я лбом о пол.— Их много, а я — один. Где мне, слабому?..»

«Это верно: слабый».

«Сомнения изгрызли вконец. Помогите!»

«Ты меня знаешь. Не помогать на землю пришел, а властвовать. Сильные не нуждались в моей помощи, и я их давил, как клопов. А слабые, что ж... Слабых я обращал в свою веру. Сильных делал слабыми, а слабых — сильными. И — по новой. Вот так».

Он надолго замолчал. Вспоминал давнишнее, должно быть, учинял самому себе строгий спрос за содеянное и не содеянное. Недоумевал: много оставил после себя этих... слабых. Уверовал: хватит на века. Не хватило! Просчитался где-то. Даже этот... поганец... засуетился под конец. А ведь каким был! Верой и правдой служил.

«Нет, ты не юли. Нечего... теперь. Почему отступил?»

«Каюсь — накажи!»

«Накажу. Успеется. Отвечай... пока».

«Так ведь они возопили все разом! И слушать не захотели. Такие, как ты — это они мне — тянут нас в пропасть, в

царство тьмы и безгласия. А что я такого им сказал? Что-о?! Сами же носятся с этим, как его... плю-рализмом. Тьфу! И вот — доносились! Представляешь... — Я не заметил, как поднялся с коленей и заходил, словно маятник, по комнате, гневно размахивая руками; тело мое легко и свободно перемещалось в пространстве, не натываясь, вопреки обыкновению, на мебель. Он неодобрительно следил за мной, но я не замечал ничего взгляда, говорил и говорил, вновь и вновь переживая недавнее. — Внук! Представляешь, мой родной внук, надсжа моя, кровинушка, плоть от плоти, принародно обозвал меня Иудой. Это как так, а?! — Одинокaя слеза выкатилась из моих глаз, застряла около левой ноздри, щекоча и раздражая. Я неловко смахнул ее на пол. — Никто не понимает меня. Вот и...»

«Вот и...» — поторопили меня.

«...забрал я свой иск назад. Понял, никакой людской суд не поддержит».

«А я? Ты обо мне подумал?»

«Дак это... Только и думал о тебе, Отец. Не о себе же!»

«Опять лжешь. Думал бы обо мне — не устранился бы людского суда. Вспомни, разве не моим именем ты, слабое существо, стал сильнее многих и многих себе подобных? Разве не так?»

«Так».

«Вспомни!..»

Я изможденно опустился в кресло в дальнем углу — подалее от его утрашающего взгляда. И все же не мог ответить от него своих глаз; он доставал меня всюду, властно проникал через хрупкую телесную оболочку в суть бытия, сердцевину моей души — выворачивал ее наизнанку. И я почти не сопротивлялся предначертанному, догадываясь уже, какое возмездие мне уготовано. Он вновь вел меня пройденным путем. (Дважды глухо ударили в церковные колокола Наюву, или?..)

...Вот я, десятилетний пацан, в каком-то диком упоении тычу пальцем в изумленного бородача и без конца повторяю: «Это он! Это он звонил в колокола...» Бородач этот — мой отец. Содаянное им кажется мне до того преступным, что одно лишь осознание его напрочь рвет родственные связи. «Это он! Он! О-он!..» Мне становится плохо, улица плывет перед глазами, плывет церковь в ее дальнем конце — в ужасе содрогаются ее колокола: о-он-н-н!.. Я падаю без сознания.

Я не приходил в себя с пятницы по пятницу. А когда наконец очнулся, не обнаружил среди своих отца. Я еще не

знал тогда, что мне не суждено будет увидеть его долгих двадцать пять лет. Такой ценой обошелся ему малый проступок: он тайком пробрался на церковную колокольню, чтобы созвать народ и принародно покаяться за навет на соседа...

«Твой отец был сильным...»

«Да».

«...и я обратил его в слабого».

«Да».

«Дальше!»

Что было дальше?

Сплошной колокольный звон — вот что было дальше. Я шел под него, переступая через осуждение толпы, через жалость к людям. Это трудно только в первый раз — переступить через жалость к себе подобным. А потом... потом я возомнил себя вершителем людских судеб. Еще задолго до того, как стал прокурором, был замечен, приближен, обласкан Главным Сановным Лицом. Вот этим самым — усатым... (О боже, как больно от колоколов! Лучше бы они звучали наяву, а не в моей душе).

...Встреча с отцом. Бывшим отцом и... жалким беззубым стариком.

— Узнаешь? — проскрипел он.

— Кто вы такой?

— Кхе... Отец.

— Нет у меня никакого отца!

— Слышал. Не верил вот только. Зря не верил. Ты же и от братьев отрекся, как от родного отца.

— От врагов народа!

— Упорствуешь все... Об одном хочу спросить тебя: ты и впрямь тогда поверил навету на меня?

— И тогда, и... теперь верю.

— Во, Иуда! — восхищенно молвил отец.

— Я вас больше не держу.

— Это я... мы тебя не держим. Будь ты проклят!

— Вон! Во-о-н! Во-о-н-н!

(...Опять этот колокольный звон! Куда мне от него деться?! Какая нестерпимая боль в груди! Не в колокола — в сердце мое стучат железные языки памяти. О-о-о!)

«Не раскисай. Домолви слово».

Кто это сказал? Этот, с усами? Отец? Или я сам?

«Неважно — кто. Домолви».

Боль отпускает на время, мутная пелена спадает с моих глаз. Смолкают колокола. Вижу все тот же пристальный, немигающий взгляд.

«Ну, чего уставился?»

«Ого! Дерзить начинаешь?»

«Повелитель он, видишь ли... Отец наш родной. Да какой ты мне отец?! Дьявол ты!»

«Но-но, потише! — левый ус на лице ночного собеседника гневно топорщится вверх. — А не то...»

«Что «а не то»? Что-о?! На Колыму сошлешь, к стенке поставишь, на дыбу вздернешь?»

«И вздерну! — сурово пообещал дьявол. — Встать!»

Прежний голос повелителя подбросил меня в кресле, вытянул тело струной — я снова готов был делать все, что бы ни приказал этот голос. Наваждение — и только!

«То-то, — удовлетворенно хмыкнул тот. — А ну, повторяй за мной: я — дурак!»

«Я — дурак!».

«Еще раз».

«Я — дурак!»

«Еще!»

«Я — дурак, я — дурак, я — дурак!..»

«Довольно! Заладил, как попугай. Теперь — молись... Надоели мне разговоры. Пора кончать».

«Что... кого... кончать?» — то ли спросил вслух, то ли подумал я между ударами лбом об пол. Видно, не подумал, потому что ночной собеседник безжалостно произнес:

«Тебя кончать!»

Все мое немощное тело съежилось в старческом страхе. Знал: он слов не бросал на ветер, решения его были обдуманы, действия — последовательны. Сначала приблизить человека, а потом казнить — вот его иезуитская натура. Дьявол и есть! Что же он медлит?

Лоб мой горел и саднил от иступленных поклонов, кровь заливала глаза — кажется, я переусердствовал. Довольно.

«Довольно!»

«Но-но!»

«Никаких — «но»! Плевать мне на тебя! Что — съел?! Вер-хо-о-овный. Хватит — наверховодил! В могиле уж давно, а все не утихаешь... Все ему мало крови! На-ка вот, попей мою, — с этими словами я подбежал, сорвал со стены портрет в золоченной багетовой раме и приложил его лик к своему лбу. — Что, напился? Доволен теперь?»

Он испуганно глядел на меня. Усы, замазанные моей кровью, уныло свисали вниз, левый глаз совсем не был виден, зато в правом — лишь от ужаса расширившийся, разли-

шийся по роговице зрачок. Эге, ничто человеческое и тебе не чуждо!

Он молчал, не в силах вымолвить хоть слово. Я торжествовал победу! Впервые в жизни чувствовал великое облегчение. Осызал его, как тело осызает воду благотворного источника. Только купаться и купаться в нем — больше ничего не желалось... Но, едва различимый, донесся знакомый звон. Прочь, колокола! Я вас не звал. Прочь! Не мешайте мне наслаждаться свободой.

«Это — колокола твоей совести, жалкий человек!» — разомкнул наконец он губы.

«А, ты еще и совестить, пакостный! — отшвырнул я портрет от себя. Он с силой плюхнулся на диван, но не навзничь, а торчком. Только изображение на нем встало вверх ногами. Это было непривычно и... смешно. Разом девался куда-то его сановный вид. Зато отчетливо проступили демонические черты в его лице.

«Ха-ха... Вот это видик! Как я раньше не догадался. Не бог ты, а дьявол, присвоивший имя бога! Ха-ха-ха,— заливался я, нимало не беспокоясь, что могут услышать соседи по лестничной площадке. — Ха-ха-ха...»

Насмеявшись вдоволь, я перевернул портрет на диване. Однако от привычного изображения не осталось и следа. На меня смотрел жалкий старик — наверное, такой же, как и я сам. Но я... я сегодня, сейчас был сильнее его — да сильнее! Я должен высказать ему все, что накопилось в душе за долгие годы.

«Послушай ты, жалкая рухлядь! Ты что-то там спрашивал о вере? Мол, все ли еще верю в тебя. Так вот, слушай: давно не верю! Со вчерашнего дня не верю. Потому и забрал назад заявление».

Да, забрал заявление в народный суд. Глупец! Я еще пытался спасти в людях веру в Него. Веру, которой уже не было. Предъявил иск к газете за тот материал. Автор распотрошил архивы, вытащил на свет имена казенных. Казенных по воле вот этого усатого дьявола. (Правда, не без моего участия). И кто восстал за невинно убиенных? Кровинушка моя, плоть от плоти — внук мой!

«Я — Иуда! Я — Иуда! О-о-о!..»

Неумолчно, призывно зазвенели колокола. К кому они зывают? К чему зывают? Кто бьет в них? Отец! Чтобы созвать всех и принародно покаяться за сына-Иуду!

«А все ты! Ты! Прародитель всякой нечисти на земле! Не быть в веках твоему подлому делу! Имени твоему — не быть!

Праху твоему — не быть! Уже было это. Было!.. Нашлись отчаянные головушки, чтобы выбросить кости твои из земли. Ага, задрожал, изверг! Не трясись. Помешали им. В этот раз помешали. Но будет, будет и другой раз! А пока... пока я сам тебя казню!»

«Ты этого не сделаешь. Куда тебе, слабаку!»

«Ну мы еще посмотрим! Эта штука тебе знакома? Ну-ка, иди сюда. Иди, голубчик! Щас я тебе сделаю харакири...»

Я поглубже сел в кресло. Багетовая рама ладно встала на колени, без сопротивления легла на грудь — правда, пришлось немного задрать подбородок. Но это ничего, можно и потерпеть. Немного осталось терпеть.

В груди бухали колокола — как раз против ненавистных его глаз. Рука моя почти не дрожала, когда медленно подвело дуло пистолета к этим глазам. Звук выстрела был не последний, что я слышал. Призывно били колокола, их звон нарастал, ширился, заполнял все вокруг — звал к себе. Душа моя легко отделилась от непотребного тела, воспарила под потолком, бесшумно устремилась к открытой форточке. Оглянулась напоследок на того, кто ехидно, сквозь усы, улыбался с портрета. Ей вслед. Но это Ее уже не занимало...

Громко вещали колокола.

Шел Благовест!



Суван ШАНГЫР-ООЛ

АЙЛАНМАА

(Из повести «Я верю в людей»)

Городок у нас маленький, и родильный дом в нем — один-единственный. Здесь, в старинном, но еще добротном здании, появляется на свет всегда новое чудо — крохотный человек. Громким криком он извещает мир о своем праве на жизнь и место на этой земле. Он еще не умеет даже плакать, и в первом его крике, наверное, есть и просьба, обращенная к матери: «Мама, мама, защити!» И женщина ощущает что-то совсем новое и очень-очень большое, и самое святое — чувство материнства.

У окна стояла молоденькая мама, бережно прижимая к себе первенца. Смеясь, она жестами свободной руки показывала мужу, что у них родился сын. Ликовал отец, не знал, что и делать от радости: вставал на цыпочки, кажется, го-

тов был даже влезть в окно — так ему хотелось увидеть, рассмотреть сына, взять на руки этот живой комочек...

Мне трудно было представить себе, что в этом доме, где воочию видишь великое счастье людей, вдруг кто-то из только что явившихся на свет младенцев становится сиротой при живой матери, живом отце...

Узнав причину моего прихода, заведующий роддомом, средних лет мужчина, неохотно ответил:

— Да, я слышал о подобных поступках некоторых матерей, но в моей практике такого еще не встречалось. Надо спросить у ветеранов, может быть, они помнят.

— А девушка... вернее, женщина по имени Айланмаа работает у вас? — спросил я, вспомнив имя, названное в письме.

— Айланмаа... Айланмаа... — напрягал память врач. — Она что, тоже тогда работала?

— Наверное, — пожал я плечами. — Ее имя есть в письме.

Немного подумав, врач предложил:

— А знаете, давайте завтра встретимся. Я поинтересуюсь этой историей... расспрошу в коллективе.

На следующей день я пришел в назначенное время.

— Есть у нас врач: и этот случай помнит, и Айланму знает. Вы присядьте, я сейчас позову ее, — торопливо сказал заведующий и вышел из кабинета.

Через несколько минут вошла пожилая женщина. Бело-снежный халат приятно подчеркивал ее смуглое серьезное лицо, как бы выделяя в нем черты доброты. Она сдержанно поздоровалась.

— По служебному долгу о подобных проступках матерей и отцов распространяться не положено, — сказала Менги Кежиковна, когда мы познакомились и ей стала известна цель моего прихода. — Врачебная тайна, знаете...

— Нет, это не для газеты! Я просто хочу понять, как могла мать отказаться от своего ребенка и бросить его на произвол судьбы, — возбужденно заговорил я.

— Ну, на произвол она его не оставляла, — спокойно заметила врач.

— Как не оставляла!? — удивился я.

— Да так, — и, посмотрев на меня испытующе, Менги Кежиковна добавила: — Родители оставляли его, зная заранее, что вырастит мальчика государство и заботу, материнскую и отцовскую, возьмет на себя, опять же, государство.

— Это, конечно, так. Но ведь работники детских домов не могут заменить мать, да и люди там всякие есть,— попытался возразить я.

— А что с малышом?— спросила вдруг она взволнованно. Исчез холодный тон безразличия, только что звучавший в ее голосе.

— Он уже не малыш. Он совсем взрослый человек,— радостно сообщил я.

— Да, да. Прошло так много лет. Знаете, я часто вспоминала его. Чувствовала какую-то вину за собой. Бога молила, чтобы в хорошие руки попал,— уже не пряча волнения, торопливо заговорила Менги Кежиковна.

— И не зря молили,— улыбнулся я,— так и случилось.

— Правда?— обрадовалась она.— Как он там? Наверное, трудно ему?

— Было трудно, а теперь все хорошо: выучился, работает.

— Даже работает?! Впрочем, что тут удивительного,— с чуть уловимой грустью в голосе, задумчиво добавила она.— Ведь там условия.— И, немного помолчав, размышляя о чем-то далеком, Менги Кежиковна тихо спросила:

— А какую специальность дали ему?

— Он стал художником.

— Художником!?— широко открыв глаза, она удивленно смотрела на меня и, видимо, не совсем верила.

— Он работает на фабрике, разрисовывает посуду,— сказал я.

— Огромное спасибо вам! Хорошую весть вы привезли. Словно гонец вернулся из того давнего времени... Добрый, как в народе говорят, у вас конь. Я ведь жила и не ведала, как он там, этот мальчик, что с ним, а узнать...— Менги Кежиковна вдруг нахмурилась, лицо снова стало серьезным.— Извините меня,— с неожиданной резкостью сказала она.— Не хотела ворошить эту скверную историю, но раз у Булата так удачно сложилась жизнь, я расскажу вам, как это случилось...

— Молодая женщина, которую вчера вечером привезли, ночью мальчика родила! Видели бы вы, какой он богатырь у нее! Четыре с лишним весит!— тараторила молоденькая акушерка Айланмаа.— А мать какая терпеливая! Первый раз рождает, и ни звука, ни стопа, только губы искусала до крови. Говорят, от таких женщин рождаются настоящие мужчины, а я бы так не...

— Самочувствие матери и младенца?— резко оборвала я говорунью.

Айланмаа сердито поджала губы и коротко ответила:

— Хорошее.

Я была заведующей роддомом, а требования к нам отличались чрезвычайной строгостью. Без всякой сентиментальности спрашивай о состоянии рожениц и новорожденных. Дежурная акушерка должна коротко докладывать, что произошло за истекшую ночь.

— Пойдемте, посмотрим,— сказала я и направилась в детскую палату.

Когда я развернула пеленки, удивилась: мальчик действительно был очень крупный.

— Настоящий богатырь вырастет! На всех наадымах сильнейшим борцом в хуреше будет! Одним из шестидесяти четырех!— не сдержала восхищения и я.

Но вот что меня тут же обеспокоило: у мальчика двигались только руки, а ноги были недвижимы. Я подумала, что его слишком туго запеленали, и ноги ребенка отекли. Начала легонько делать массаж — нет, так же лежат бесчувственно. Приподняла их и опустила — мертвыми плетью упали они на постель. Меня словно холодной водой окатило.

— Посмотри,— указала я Айланме.

Лицо девушки стало березово-белым, она испуганно забормотала, как бы оправдываясь:

— При родах не было никаких затруднений...

— Успокойся, Айланмаа.

— Может быть, я не так приняла?— со слезами на глазах шепотом спрашивала она.

— Перестань,— рассердилась я на нее.— Твоей вины здесь нет. Возьми себя в руки. Он родился с мертвыми ногами, Айланмаа. Пока не надо говорить. При матери пеленки не разворачивать, поняла? Виду не подавать. Обследуем ребенка, там посмотрим, что и как.

Айланмаа удивленно уставилась на меня и грубо упрекнула:

— Как вы спокойны. Как...

— Вы меня поняли?!— я повысила голос.

Айланмаа кивнула головой и отошла. Закрыв лицо руками, она разрыдалась...

Осматривая молодую мать, я думала о ее ребенке и чувствовала себя перед ней неловко. И вдруг сорвалось с языка:

— Ну и как теперь?

Та смутилась и опустила голову.

— Что? — тихо и взволнованно спросила она.

Я поняла нелепость своего вопроса и, чтобы как-то выйти из неудобного положения, дала знать, будто это моя манера разговаривать с людьми.

— Что, что! Рожать. Матерью становиться.

— Я очень боялась, — смущенно улыбнулась женщина.

— Это нам природой дано, и страшного тут ничего нет, — в шутовском тоне одобрила я.

— Муж хотел сына, — не скрывая радости, говорила она. — Вот и родился у нас сын. Я очень переживала — вдруг девочка будет.

Мне стал невыносим этот, начатый мною же, разговор о мальчике, который уже в утробе этой женщины был поражен болезнью.

— У вас все хорошо, — сказала я и поспешно ушла.

Обследование определило диагноз — трудноизлечимая болезнь. Предположить, будет ли мальчик ходить, было просто невозможно. Хотя и случалось, что лечение подобных заболеваний давало положительные результаты. Но это, как правило, благодаря настойчивости и выдержке родителей и, конечно, потенции организма самого больного. Вы понимаете наши медицинские термины?

Я кивнул. Менги Кежиковна продолжила:

— Мальчик был крепкий, организм здоровый, оставалось только надеяться и верить, что лечение и терпеливая забота родителей помогут ему справиться с недугом.

Подшло время выписывать мать с младенцем из роддома, но она все еще не знала о болезни сына. Малышей приносили только на кормление, а пеленки разворачивать не разрешалось. Отец каждый день приходил под окно палаты. С каким нетерпением он ждал своего звездного часа — взять на руки долгожданного, единственного в этом мире, сына-первенца!

Видя, как счастливы молодые супруги, мы не могли решиться рассказать им всю правду. И еще... что-то настораживало меня. Я подсознательно чувствовала хрупкость этого счастья.

Срок выписки я должна была отодвинуть, даже не объясняя причины. Но сколько ни храни эту черную тайну, все равно нестремимый час горькой правды наступал и для родителей, и для меня — врача.

В те далекие годы, еще не имея тягостного опыта, приобретенного впоследствии, я в трудных житейских вопросах полагалась больше на мужчин. Вот и решила, что об этом

Ударе судьбы первым должен узнать отец ребенка. Я верила: он устоит сам и сможет защитить жену, подготовит ее к трудному разговору со мной.

Когда этот человек снова пришел навестить жену и сына, я пригласила его в кабинет и все рассказала. С первых моих слов о случившейся беде он сразу весь как-то сник: погасли глаза, на лице замерло необъяснимое выражение — что-то между испугом и обреченностью. Он низко склонил голову и сидел молча, покачиваясь всем телом в такт моему голосу, изредка кивая головой в знак согласия.

Чтобы хоть как-то успокоить его, я стала лгать:

— Мы проводим курс лечения, но эффект пока незначительный. В будущем, когда ребенок подрастет, в сочетании со специальными физическими упражнениями лечение будет давать более положительные результаты. К тому же и новые препараты появятся, и методы лечения усовершенствуются...

Он встал и вышел, даже не попрощавшись и не дослушав мои оптимистические уверения. Мне очень хотелось, чтобы он поверил в возможности медицины, в победу над болезнью, в самих себя — отца и мать. А получилось, будто я его уговаривала.

Он неторопливо переходил площадь, усыпанную осенними листьями тополей, оставляя на этом желтом покрывале длинные черные штрихи асфальта. По-старчески не поднимая ног, ссутулившийся, он не был похож на того высокого парня, который только что заглядывал в палату, громко разговаривал через оконное стекло, радостно смеялся и веселил жену. По площади шел пожилой человек в красивой молодежной куртке.

Я содрогнулась. Внезапная мысль вырвала меня из оценки: может быть, я его обманула, и мальчик совсем здоров? Что, если так? Я прибежала в палату новорожденных, распеленала малыша, но... чудес не бывает. Можно обмануть себя или других, а жизнь — разве ее обманешь? Младенец весело размахивал руками, а ноги по-прежнему были недвижимы...

На следующий день, после обеда, молодой отец пришел ко мне. Я видела, с какой уверенностью он приближался к роддому, но не к заветному окну палаты, а прямо к входной двери. Я ждала и надеялась, что он идет за советом или с просьбой о помощи, или хотя бы выговорить наболевшую, выстраданную за прошедшую ночь боль и обиду.

Он шумно вошел в кабинет, угрюмо поздоровался и,

словно выдавливая из себя слова, стал медленно говорить:

— Менги Кежиковна, я не мог даже предположить, что жена родит мне больного сына. Как это жестоко! Едва родившись, мальчик встречает жизнь калекой! Неужели мы виновны в его болезни? Как я мечтал о сынишке! Сколько ласки скопил для него! А теперь все рухнуло. Долгие ожидания и надежды уходят в пустоту...

Казалось, он сейчас заплачет. Голос дрожал, переполненный болью, лицо исказилось страданием.

— Поверьте, все еще будет хорошо, главное, что у вас есть сын,— пыталась успокоить я.— И ласкать его будете, и играть с ним, как только выпишем...

— Нет!— испуганно отмахнулся он.— Мы оставим его в больнице. Он больной.

— У нас только рождаются, а лечением...

— Я знаю, но ведь оставляют же у вас новорожденных,— каким-то заговорщицким тоном прервал он меня и уже более уверенно продолжил:— Я консультировался у специалистов об этой болезни. Она вообще неизлечимая. А вы хотели нас обмануть. Ладно, сейчас он — младенец, ему и ноги-то не нужны, все равно на руках таскать. А вырастет? Кем он будет? Живым пнем всю жизнь!

— Но он же ваш родной сын,— напомнила я, пытаюсь пробудить отцовские чувства.

— Не забываете, доктор, сын-то больной,— с каким-то злым ехидством заявил он.

Во мне нарастало возмущение. Я не знала, что ему возразить — наверное, растерялась. С трудом сдерживаясь, сказала:

— Я не имею права решать такие вопросы.

Давая понять, что разговор окончен, я резко встала. Он, как ошпаренный, вскочил и вызывающе, по-петушиному, подлетел ко мне. Я физически ощущала, насколько гадок этот человек. Только что его жалела, сочувствовала ему, а теперь во мне вспыхнула ненависть.

— Вы, конечно, решать не вправе, но вам же известно, что при определенных обстоятельствах мы, то есть родители, можем отказаться от...— он осекся и, опустив голову, отошел.

— Говорите же, говорите,— не скрывая ненависти, зло, сквозь зубы, сказала я.

— Ведь это официально предусмотрено,— снова заговорщицким тоном начал он.— Мы оформим необходимые документы, чтобы оставить ребенка, а вас лично прошу не подни-

мать шума насчет нравственности нашей семьи. Требовать неразглашения — это мое право. Не хочу, чтобы об этом стало известно на работе, чтобы пострадал мой авторитет...

— Довольно,— грубо оборвала его я.— Судьбу сына будет решать мать, а вы... вы ему никто.

— А что мать?— с отвратительным холодом в голосе пренебрежительно возразил он.— Она прежде всего — жена, а потом уж все остальное.

— Прекратите! Вы омерзительны, уйдите отсюда!— не выдержав, истерично выкрикнула я.

Мне стало невероятно тяжело. Казалось, он заполняет собой весь кабинет, и мне все меньше и меньше остается места.

— Но мы ведь не договорились,— вкрадчиво и с легким напором начал он снова.

— Я вас ненавижу! Ради бога, уйдите!— медленно на-двигаясь на него, громким угрожающим шепотом прошипела я.

Не знаю, какое выражение было на моем лице, но он растерянно попятился к двери. Мне хотелось раздавить, как противную букашку, это громоздкое и сильное существо — вроде бы мужчину, молодого отца... несостоявшегося.

Он аккуратно закрыл за собой дверь. Я обессиленно опустилась на стул и долго не могла успокоиться.

Тут прибежала взволнованная медсестра.

— Менги Кежиковна, мать без разрешения взяла больного младенца к себе в палату, распеленала, всего целует и сильно плачет,— сообщила она.

Я заторопилась в палату рожениц, терзаясь догадкой — неужели этот подлец опередил и все рассказал?

Малыш, голенький, лежал на коленях у матери. Она гладила и целовала ноги сына, словно хотела их оживить. Крупные слезы текли по щекам молодой женщины, а лицо выражало глубокую печаль. Казалось, она вовсе и не плачет, просто слезы сами по себе текут.

В этом молчаливом рыдании, сквозь туманную пелену слез, мать пристально всматривалась в лицо сына. Словно пыталась запомнить его образ на всю жизнь. От выражения ее лица мне стало не по себе. Я села рядом и слегка приобняла ее, не зная, каким словом или жестом успокоить.

— Скажите, доктор, только честно, могут ли его вылечить?— с отчаянной мольбой в голосе, решительно спросила она.

Я была не готова к откровенному ответу. Отведя глаза в сторону, спокойным тоном поинтересовалась:

— Как вы узнали о болезни сына?

Она раскрыла ладонь и показала скомканную бумагу.

— Мой муж, понимаете, его отец...— Она не договорила и еще сильнее, навзрыд, заплакала. Приговаривая ласковые слова, стала часто-часто целовать сына в щеки, глаза, живот, ноги... Омывала его потоками слез.

— Дайте-ка сюда вашего сына. Надо его запеленать, а то продует.

Я чуть не силой отобрала у нее малыша, сама запеленала и велела унести. Подождала, пока мать немного успокоится. Подала ей стакан воды. Стуча зубами о стекло, вздрагивая, она с трудом сделала несколько глотков. Ставя стакан на тумбочку, нечаянно уронила и от звона разбитого стекла вся напряглась.

— Я хочу убедить вас, что в целом здоровье вашего сына отличное, вот только ноги...— Я заговорила, воспользовавшись тем, что она, кажется, отвлеклась от своих мыслей.— Конечно, недуг у мальчика тяжелый, и приступать к лечению вот так сразу нельзя. Необходимо тщательное обследование и наблюдение — это даст более точные результаты, поможет решить, как лечить и чем. Но для этого, вы понимаете, понадобятся, наверное, не месяцы и даже не один год... Трудно сказать, сколько именно лет. Но вы, самый близкий человек этого мальчика, его родная мать, должны поверить, что он встанет на ноги. В большей степени это будет зависеть именно от вас, от матери.

Она снова, но уже громко, безудержно зарыдала, словно сказанным я не успокоить ее старалась, а, наоборот, расстроить. Когда я попыталась взять ее за руку, чтобы слова мои стали убедительнее, она вдруг испуганно отодвинулась и спрятала руки.

— Вы простите меня. Простите, простите!— глядя мне прямо в глаза открытыми, полными слез глазами, умоляюще и отчаянно сказала она и упала лицом в подушку.

Я ушла с чувством неловкости и вины перед этой женщиной. Не знаю, почему сразу не догадалась, как только она мне руки не дала и по последним ее словам — о том, что она приняла уже решение оставить сына.

Пришло время кормления новорожденных. Ко мне прибежала сестра из детской палаты с этим малышом на руках.

— Не можем найти мать, — встревоженно сказала она. — Нигде ее нет.

Страшная догадка пронзила мое сердце.

— Как это нет? Наверное, в другой палате где-нибудь сидит, с подружками разговаривает,— возмутилась я и взяла ребенка на руки.— Иди, поищи.

Мне не хотелось верить себе. Тому, о чем я уже, кажется, знала. Нет, не должна эта женщина оставить своего сына-первенца. Я пошла в ее палату и стала ждать там.

Прибежала Айланмаа со слезами на глазах:

— Мы все обыскали, нет ее нигде.

Я решила, что мать пошла домой поговорить с мужем.

— Возьмите машину и съездите к ней домой,— распорядилась я.

Младенец еще спал. Я стала поправлять подушку, чтобы положить его, и увидела ту скомканную записку. Рука сама потянулась за ней. Предчувствие подсказывало: сейчас я узнаю правду, узнаю, почему эта женщина ушла из роддома. Быстро пробежала глазами по строчкам. Потом, уже внимательно, перечитала раз, другой...

«Ты не смогла родить мне здорового сына,— с первых строк упрекал он жену.— Ты родила младенца с мертвыми ногами. Мне обо всем рассказала врач, а от тебя они, пока еще, скрывают. Я консультировался у специалистов, эта болезнь неизлечима. Если даже мы вырастим его, он будет неподвижным пнем. Это не жизнь для человека. И для нас не будет жизни. Надо отдать мальчика в детский дом. Есть такие дома для детей-инвалидов. Я готов платить алименты, но государство за это денег не берет. Ведь даже здоровых детей оставляют. Сколько их растет в детдомах! И нашему мальчику будет хорошо, там соответствующее окружение и обстановка. А если мы свяжем себя по рукам и ногам этим инвалидом, тогда мне придется распрощаться с научной работой и диссертацией. Вот и выбирай: или ребенок-калека и вечный уход за ним, или... Я выбрал второе и тебе предлагаю сделать то же самое. Предпочтешь первое — будешь одна растить его и ухаживать за ним до старости лет. Ты меня знаешь, я слов на ветер не бросаю. Принесу твою одежду, и ты, без всяких сантиментов, уйдешь оттуда. Так надо, моя дорогая».

Я поняла: мать выбрала второе. Впервые осознала, насколько хрупки взаимоотношения людей, даже если они одной крови. Оказывается, никакие чувства, пусть и самые святые,— любовь, вера, преданность — не зависят от кровного родства. Впрочем, как и подлость, трусость, коварство — ведь и эти гадости не от крови отца и матери.

...Когда приехала Айланмаа и рассказала о встрече с мужем роженицы, все наши сомнения развеялись.

Отец открыто заявил, что от ребенка они оба отказываются. Обвинил врачей в причастности к болезни сына. Не разрешил медсестре поговорить с матерью. А та заперлась в комнате и словно не слышала просьбы покормить младенца, хотя бы на прощанье. Силой выпроводил от роддома, от сына-первенца и, наверно, от всего человеческого в себе.

Мы сообщили о случившемся в соответствующие органы. Но никто не стал предъявлять претензий к родителям. В целях безопасности детей этого не делают. Стараются вообще не делать. Нам оставалось оформить документы, чтобы определить малыша в Дом ребенка.

Все это очень остро переживала Айланмаа. Ей все казалось, что в несчастье младенца есть и ее вина. Отказалась принимать роды, суеверно ссылаясь на «несчастливые» руки, и попросила перевести в отделение дежурной сестрой...

По обычаю наших предков, Айланмаа оставалась этому малышу как бы второй матерью: ведь это она завязала пупок при родах.

Однажды она пришла ко мне в кабинет и заявила:

— Менги Кежиковна, я хочу усыновить младенца.

В душе я обрадовалась: будет у больного ребенка заботливая мать. Но тревожная мысль об изменчивости жизни, о непредвиденности людских судеб оказалось сильнее радостной надежды.

— Айланмаа, ты не сознаешь, какую ношу берешь на себя, какую ответственность... Выдержишь ли?— спросила я. Девушка уверенно кивнула головой.

— Ты взваливаешь на свои хрупкие плечи его трудную судьбу. От рождения он обречен сиднем сидеть, как выразился его отец,— живым пнем. А тебе самой-то двадцать лет всего. Нет, Айланмаа, даже не думай и выбрось эту затею из головы.

— Я все для него сделаю, Менги Кежиковна. Если бы вы знали, как мне жаль этого мальчика, словно родного! В его несчастье есть и моя вина. Я очень прошу вас, помогите оформить документы.

— Перестань! Сколько можно о своей вине твердить. Ты же прекрасно знаешь причину болезни. А если кто и виноват, так только они, зачавшие ребенка. Ты думаешь, мне не жалко его?! Но жалость — плохой скакун и далеко на нем не ускачешь,— говорила я уже раздраженно.

Перечисляла всевозможные трудности, убеждала, что больше пользы для младенца даст забота государства. Но Айланмаа и слушать не захотела. Наверное, правильно сделала. Ушла, так хлопнув дверью со зла, что стекла зазвенели. Я знала: девушку увлек порыв чувств, и она не может трезво оценить свое решение. А что будет потом, в реальной обстановке, на протяжении многих лет? Я ускорила оформление документов в Дом ребенка: там, полагала, и мальчику будет лучше, да и мне спокойнее.

Все-таки Айланмаа меня, что называется, обставила. Добилась опекуна над ребенком до двухлетнего возраста. Мысленно я одобряла ее поступок. Ребенку на первых порах необходим особо тщательный уход, чего в тамошней, почти больничной, обстановке не смогут дать. Но здесь таилась и опасность: ребенок привяжется к ней, как к родной матери, и придется отрывать — нет, отирать их друг от друга, причиняя психические травмы как мальчику, так и ей...

Айланмаа сильно сердилась на меня. Демонстративно не разговаривала со мной, смотрела косо. Если случалось с ней встретиться у постельки этого ребенка, она специально начинала его нацеловывать, ласкала, называла сыночком.

Когда Айланмаа забирала малыша из роддома, наш коллектив устроил небольшие проводы. Купили подарки ребенку. Дали ему имя — Булат, чтобы в жизни был стойким, твердым, как тот металл, что издавна ценился дороже золота.

До двух лет Булат рос на руках Айланмы и ее бабушки. Мудрая, много повидавшая за свою долгую жизнь, бабушка понимала, что самое трудное впереди. Хотя она и сама была привязана к малышу, очень жалела его, но все равно готовила Айланму и Булата к предстоящей разлуке. Наверное, оттого и не позволяла чересчур ласкать и баловать ребенка. Эти два года я постоянно вела наблюдение за здоровьем Булата. Иногда давала бабушке советы по уходу за больным, но она не нуждалась в моих подсказках. У нее были свои средства, и делала она все по-своему. Часто ругала Айланму за то, что она кутает и нежит мальчика. Неустанно назидательно повторяла, что мужчина должен быть закаленным и серьезным.

Шли дни. И в один из них ко мне подошла Айланмаа и сказала:

— Завтра Булату два года.

— Уже два? — удивилась я. — Как быстро летит время.

— Да, действительно, очень быстро, — выделяя два последние слова, грустно и с каким-то чуть уловимым упреком согласилась Айланмаа.

— Прости меня, Айлан, я и правда не заметила, как прошло время, и забыла... — извиняющимся тоном оправдывалась я.

— Менги Кежиковна, мы приглашаем вас на наш небольшой праздник, — с грустью в голосе сказала она и ласково приобняла меня.

На дне рождения гостей не было. Да и не такое уж веселое событие — появление на свет этого мальчика. Мы сидели вчетвером — бабушка, Айланмаа и я, ну и, конечно, виновник торжества. В основном, молчали. Каждая думала о своем, но все наши мысли имели прямое отношение к Булату. А Булат весело смеялся и много лопотал, — понимал, что все устроено для него. Айланмаа весь вечер держала мальчика на коленях, ласкала его, нежила, играла с ним. И бабушка не ругала ее, знала, как тяжело сейчас внучке.

На меня повеяло разлукой. Я поняла: Айланмаа окончательно решила отдать Булата в Дом ребенка — без сопротивления и напоминаний. И продлить срок опекуинства не будет пытаться. Почему? Мне захотелось остановить ее. Но меня удерживала убежденность в том, что это — единственное разумное решение. Она и собрала нас, причастных к судьбе малыша, чтобы простились с ним навсегда.

Когда мы расставались, я сказала:

— Это, наверное, к лучшему.

— Да, вы были правы, — задумчиво молвила Айланмаа. — Все изменяется. И люди, и жизнь. Трудно жить в этом мире, особенно тем, кто остро нуждается в помощи: сиротам, больным, престарелым...

Она помолчала немного и с чуть заметным раздражением продолжила:

— Тогус-оол относится к Булату, словно к обузе. Говорит, у нас, мол, свои дети будут.

Айланмаа дружила с Тогус-оолом, и я не раз видела их вместе. И Булат всегда был с ними, на руках у парня. Он, как с родным сыном, играл с мальчиком, баловал его. Мне казалось, Тогус-оол привязался к Булату и полюбил его. Выходит, все это была наигранность, или, как теперь говорят, показуха? Не с лучшей, однако же, стороны раскрывается натура парня в такой лживой игре с любимой и с ни в чем не повинным младенцем...

— Ты, Айлан, еще молода, а с больным ребенком многое потеряешь — помнишь, я тебе говорила? И молодость, и любовь... Теперь ты, наверное, сама убедилась. Я понимаю, тебе

нелегко идти на это, но решение твое правильное. Не изводи себя терзаниями, поверь, пройдет время, и рана у тебя на сердце загладится. И у маленького — тоже. Конечно, след все равно останется, но... Бесследно все проходит только у плохих людей.— Хотелось сказать ей самые нежные и нужные слова, а получилось опять нравоучение.

Она слушала меня спокойно, не перебивая. Чувствовалось: не раз об этом же думала.

— Менги Кежиковна, Булат для меня — не обуза. Я не скрываю, что мне было трудно, но причина моего решения другая,— сказала она, наконец.— Боюсь, случится что-нибудь со мной, и мальчик останется один.

— Что ты говоришь! — упрекнула я.

— Вы же сами утверждаете, что в жизни всякое бывает. И вообще, я думаю, там будет надежнее,— делая ударение на последнем слове, твердо заявила она.

...Я не могла полностью осознать и представить себе, как же трудно им будет друг без друга. Видела Айлан измученной: лицо осунулось, в глазах вместо прежнего блеска — тоска... Она постепенно привыкала к жизни без Булата. Начинала жить не чувством, а умом. Мне горько было сознавать, что, приобретая одно, люди теряют другое.

Спустя некоторое время, я заметила, что Айланмаа перестала встречаться с Тогус-оолом. Как-то я спросила ее:

— Ты поссорилась со своим парнем?

— Нет, просто видеть его не хочу,— ответила она.— В нем многое напоминает отца Булата. Такой же циник.

Сказав эти резкие слова, она сразу же ушла — дала мне понять, что вообще не хочет говорить о нем.

Когда натыкаюсь на людское зло, сталкиваюсь с подлостью, коварством, когда надежду мою разрушает обман, я вспоминаю Айланму. Эта девушка сохранила во мне веру в людей, в их сердечность, порядочность. Память об Айлан лечит мою душу, не дает ей очерстветь, озлобиться. Потому что есть такие люди, как эта девушка, и я в это верю всем сердцем... Вот и все.

— Менги Кежиковна... — помолчав, откликнулся я.— Вы сказали — «память». Что же случилось с Айланмой? Где она сейчас?

— Нет Айланмы... Через полгода после разлуки с Булатом она слегла. Что-то у нее было с почками. Болезнь осложнилась, почки отказали и...

Врач прошлась по кабинету, прижимая пальцы к вискам. Остановилась возле книжного шкафа и тихо, с глубоким сожалением, сказала:

— Только после ее смерти я догадалась, что она не договорила тогда — о надежности детдома для Булата. Видимо, уже чувствовала болезнь и знала о ее серьезности.

Менги Кежиковна подошла ко мне почти вплотную и, глядя прямо в глаза, горячо произнесла:

— Ведь недаром в народе говорят, хороший человек первым умирает. Они за всех нас сгорают в огне своих чувств. — И горько пошутила: — А мы-то живем! Нам хоть бы что...

Она отошла к столу. Чуть помолчав, вдруг встрепенулась и, словно опомнившись, спросила:

— А вы откуда узнали о Булате?

Я вынул из кармана письмо в редакцию и подал ей:

— Здесь все о нем. Как рос, как учился вставать на ноги, как сделал свой первый шаг.

— Разве он ходит? — чуть не вскрикнула врач. Ее удивлению не было предела. Она торопливо стала ходить по кабинету. — Нет, это немислимо! Такая болезнь, и встать на ноги — это же редкость!

— Значит, он из редких. Булат ходит. Правда, при помощи костылей.

— А кто вам написал это письмо?

— Наверное, такой же хороший человек, как и Айлан-маа. Вера Матвеевна ее зовут.

— Я всегда верила, что таких людей, как наша Айлан, на свете много. Была б она жива, сколько радости и счастья вы сейчас подарили бы ей...

□

С т и х и

Монгуш КЕНИН-ЛОПСАН

ПЛАНЕТА ТУВА

Посвящаю Николаю Степановичу Черных, открывшему 170 малых планет и новую, которую он назвал Тувой.

Сладкая сказка деда, благословляю тебя.
Звездная сказка, в детстве ты уносила меня
в край Курбусту. Но чудо: в гордых обличьях царей
были родные люди, близкие жизни моей.

Нет, не проходят даром сказки далеких дней:
нежные крылья детства стали стократ сильней.
Чудо, что не сломались, крепче срослись со мной:
как они распрямляются, чувствую всей спиной.

Это бывает редко, только в большие дни
гордости за Отечество и за величье Земли,
той, что дарила сказки в детстве не по годам,—
лишь потому, наверное, звезды доступны нам...

Быстро холмы растают без высочайших гор,
горы холмами станут, если гладок простор.
Тем же живут планеты и человеческий миг:
малая жизнь — не приметна, смысл ее — так же велик.

Там, на больших орбитах мифологических драм,
на высоте Юпитера, кружит моя Тува.
Сладкая сказка деда, сказка сухих степей.
Благословляю детство тех, кто доверился ей.

□

ПОССОРИЛИСЬ МОИ ДРУЗЬЯ

Обвал случайный
Оборвет мой путь,
Лишь крик ущелье
Огласит тревожно.
И на жену с детьми
Уже взглянуть
Мне с того света
Будет невозможно.

Но более
Мучительней суда
Нет для меня
На том
И этом свете,
Когда я вижу,
Что мои друзья
Уж затаили
Злобу на рассвете.

И запах драки
Полнит всю округу.
И душу разрывает мне
Любовь.
И я молю:
— Пусть мне отрубят руку.
Но вы свои
Пожмите руки вновь.

Душа моя
Вас молит примириться,
Разбрызгивая в небо молоко,
Она над вами,
Словно мать,
Кружится,
Когда услышит
Резкий взвод курков.

Прилипнет злоба,
Точно селезенка,
И к вашим сыновьям.
Вы думали о том?

Как вскармливают грудью
Матери ребенка,
Вы —
Вскормите их злом.

Я — раненая птица,
Бьется в груди сердце,
Кровавая
Чистый, чистый
Снег надежд моих.
И никуда от боли
Мне уже не деться...
Да разве можно
Деться
От друзей своих?!



Инна ДУБНИКОВА

ДВЕ СИНИЕ ПТИЦЫ

Две синие птицы по синему небу летят.
Не видно, но больно —
в груди у крылатой одной
открыты две давние, рваные, красные раны.
Летят они в дальние и неоткрытые страны
холодной, нездешней, заснеженной стороной.

Две синие птицы по синему небу летят.
Не видно, но больно —
перо у меня на руке.
Испуганно кровь подступает к непрочному горлу,
и птица одна надо мной свои крылья простерла,
на миг отразившись в лице моем, точно в реке.

* * *

Снова звон колокольный снится,
и во сне я хочу забыться,
закружиться в музыке, снеге.

Надвигается, темный, темный,
из скитаний ночных, бездомных,
и во сне я хочу — забыться,
закружиться в музыке, снеге...

Разменять все это на слезы?

Снег безбрежен.

Лишь звон, словно башня —
из тоски и предательств вчерашних —
небо чистое кровенит.

И единственный вход закрыт.

* * *

Расцвели фонари,
и пришла безответная ночь.
Небо звезды порвали,
и небу, наверное, больно.
В этом доме печальном
никому не могу я помочь,
лишь заплакать могу
и упрашивать всех беспокойно.

По извечной дороге
уходят, белы, старики,
и относят ветра их,
как листья, все дальше и дальше...
И легки, словно листья,
словно листья сухие, легки
их надежды и жизни —
и наши, и наши, и наши...

* * *

Предчувствие ветра.
Как хочется окна открыть!
Тревога и даль
позовут из насмешливой ночи.
Поблекший портрет
о любви неживой мне бормочет
и глаз оторвать
от души моей зябкой не хочет.

Я брежу тобой!
Не растай, словно солнечный блик...
Я птицею стану,
дождем
и шиповником —

только на миг,
я стану осенним, предснежным,
порывистым ветром.

Пустынна бессонница.
Лишь заметался и сник
блеск русых волос
на дороге ночной и бесцветной.

* * *

Я плакать буду —
горько и светло
о том,
что лишь холодным зимам внятно,
что белым снегом на лицо легло —
я не бессонна и не безоглядна,
я не прощу уже былых обид,
и сердце, успокоенное, спит,
судьбы не ищет и любви не просит,
а кто в благоразумье камень бросит?

Но я заплачу —
горько и светло,
и все растает, без следа растает,
и вновь цветок на камне расцветает,
и вновь свистит зажившее крыло.

* * *

Посмотри — сквозь меня видно речку и луг.
я прозрачна, я солнцем пронизана вновь.
Мне не надо друзей, мне не надо подруг,
я прохлада реки, запах трав, дым костров.

Я гнездовье для птиц и жилье для людей,
шорох в темном лесу и цветочная кровь,
бег по лужам, не высохшим после дождей.
Я прозрачна, я солнцем пронизана вновь.

□

В ОТБЛЕСКАХ ОГНЯ

А. Даржаю

Поет игил...

И в отблесках огня
вдруг оживает голова коня,—
по войлочному склону юрты скачет!..
А вслед ему — игил струною плачет
и песнею, что нам певец поет,
сбежавшего коня назад зовет.
Печаль струны, как сталь клинка, остра,
пронзает всех сидящих у костра,
и кровью обливаются сердца
от плача струн и голоса певца...
И даже вечер, глядя на костер,
свой звездный плащ из края в край простер,
ветрам не дал продолжить свой полет,
чтоб слышать то, о чем певец поет.

...Но гаснет вместе с песнею огонь.
И возвращается к игилу конь,
чтоб снова над притихшею струной
склониться головой своей резной,
уже не в силах ни скакать, ни ржать,
он будет стыть и новых песен ждать.
Ведь в тот момент, как запоеет игил,
конь песни —

быстроног и легкокрыл —
опять умчится вдаль, в степной простор.
И будет рваться вслед ему костер.
Печаль звонкоголосого певца
у всех, кто слушает, пронзит сердца!
И конь игила, не вздымая пыль,
умчится вдаль, за ним — волной — ковыль!..

Край отчий! Как ты дорог нам и мил,
когда в руках певца

поет игил!

* * *

Войлочное стадо белых юрт,
будто в сказке — караван верблюдов...

Ждет меня там ласковый приют
и твой взгляд, как россыпь изумрудов.
Зелень глаз, как вешняя трава,
по которой не скакали кони.
И моя седая голова
снова ляжет в нежные ладони.
Ты споешь.

И тихо я усну,
убаюканный твоею песней.
И увижу в добром сне весну,
зелень трав, которых нет чудесней.
И, как в детстве, резвым стригунком,
позабыв все в отдаленье долгом,
по траве помчусь я босиком,
захлебнувшись смехом и восторгом!
Ты бежать навстречу будешь мне,
глаз твоих сияют изумруды!
И на нас с укором, в стороне,
глянут флегматичные верблюды.
Нам смешна верблюжья эта спесь.
Счастьем мы наполнены до края!
Нас с тобой Тува венчает здесь,
многоцветьем радуги играя.
Ты поймай меня петлею рук,—
сам тянусь я к этому аркану...

Но мираж мечты растаял вдруг.
Изумрудный взгляд твой в бездну канул.
Над Москвою — облака плывут...
В них узнать бы, сквозь заката краски,
войлочное стадо белых юрт,
как верблюжий караван из сказки.

□

Николай КУУЛАР

**БЕЛОСНЕЖНЫЙ
СТРИГУНОК**

Посмотри,
не чуя ног
белоснежный стригунок
скачет,
прыгает,
бежит!

То — на месте закружит...
Счастья не сдержав напор,
мчит потоком вешним с гор,
не боясь отвесных круч!
То — мелькнет, как солнца луч.
То — застынет на бегу
и пасется на лугу...
Для него в степях Тувы
много солнца и травы.

Где курганы встали в круг,
он заржет призывно вдруг!
И в ответ примчит к нему,
сквозь времен прошедших тьму,
сквозь века до наших дней
богатырский зов коней!
Там — Багыр, Амыр-Сана...
Края отчего сынам,
отголоском их побед
зов веков несется вслед...
И летит, не чуя ног,
белоснежный стригунок!

Кто же — всадник?
К чьим рукам
подведет его аркан?
И на чей помчит он свист,
как гонимый ветром лист?

Далеко до той поры.
А пока —
азарт игры!
Мчится напрямик, в подскок,
белоснежный стригунок!

Кто доказывает мне,
что на этой белизне
всадник не сидел в седле?!
Но ведь клонится к земле
под копытами трава!..

Приглядишь,
сама Тува —
белоснежный стригунок
мчит, и путь ее высок.

ХАМ-ДЫТ

В горах Танну-Ола, где я рожден,
растет Хам-Дыт — «Шаманка-
лиственница».

Есть место с именем Хам-Дыт.
Там я явился в мир прекрасный.
Жгут пуповины там зарыты,
как корень лиственницы красной.

Оттуда вышел я в простор!..
Горит очаг там до сих пор, —
в чабанской юрте у огня
отец и мама
ждут меня.

Там Дух-Хранитель, сунезин,
меня ждет много лет и зим:
храня связующую нить,
он — в отчете крае должен жить!

Сюда —
спешу издалека.
И снова вам, —
Хам-Дыт,
река —
свои дары преподношу.
Быть вечными
я вас прошу!

Хам-Дыт,
тебя мне не забыть, —
прочна связующая нить.
Порвись она,
я в тот же час
цветком бы сорванным погас.

* * *

Я сына привез на родимый казаг¹.
Вот — камешки,
детства забытого знак.

¹ Ч а з а г — весеннее пастбище.

И я
начинаю играть
в сайзанак!
Сынишка остался в сторонке стоять.
Он — в городе вырос.
Ему не понять.

□

Эмма ЦАЛЛАГОВА

РОЖДЕНИЕ ДУШИ

Когда в мой дом вошла твоя беда
и сердце мне изранила до крови,
когда вскипела талая вода
и звоном отозвалась в каждом слове,

когда упала птица с высоты,
от неба жадных глаз не отрывая,
когда тянула я свои мосты,
пытаясь ад земной приблизить к раю,

тогда скрестились, словно два меча,
пожары сердца с холодом рассудка.
Заполыхала осени свеча
и отгорела яростно за сутки.

В такие дни рождается душа
и обретает голос, как живая,
и каждый жест, и каждый новый шаг
ее рожденье миру открывают.

И в муке обрета свои черты,
и жизнью называя эту мýку,
душа растет и зреет, как плоды,
познав любви нелегкую науку.

НАД БЕЗДНОЙ РАССТАВАНЬЯ

Уже не так стремителен мой шаг,
сложнее жить
и тяжелей дышать.

Ведь даже у звезды —
такой беспечной! —
и позади,
и впереди —
не вечность.

Так резко опажнула холодком
мое лицо закатная прохлада.
Зачем же сердцу раненому надо
бродить впотьмах упрямым огоньком?

Оно горит над бездной расставанья,
оно стучит, пытаясь оживить
немую мглу,
которой нет названья
на языке надежды и любви.

И в бесконечном поле бытия,
на пустыре безмолвия, в глуши,
прорвется, как высокая струя,
живая кровь умолкнувшей души.



Галина ПРИНЦЕВА

МГНОВЕНИЯ

Апрельский снег.
Небес продуманная милость.
Он все омыл —
и даль светлым-светла.
Окрестность очарованно открылась
от дальних гор,
где дымка или мгла —
до чуткого оконного стекла.

* * *

Время сеять — время убирать.
Время жить — и время умирать.
Время — сети жгучие сплести,
время — разорвать их и уйти.
Время помнить — время позабыть.
Только время, чтоб тебя любить,
все уходит — дальше и верней —
к горизонту осени моей.

* * *

Дочурка, твои волосы — как мед,
глаза — морской зеленой глубины.
Ты выросла.
Готовишься в полет.
Мы не считаться с этим не должны.
Она — за поворотом,
за дождем,
твоя любовь, и нежность, и судьба.
Не станем торопиться.
Подождем,
откинув прядку с золотого лба.

* * *

И елки под серебряным дождем.
Ты не желай мне счастья и удачи.
Ведь мы не ждем.
Мы под дождем идем.
Но это ровно ничего не значит.
Лишь для руки до глупости легки
грибы и листья в ивовой корзине.

Твои глаза невыносимо сини
и облака — бездонно высоки.

* * *

Мгновенным блеском.
Росчерком крыла.

Ты — нежности глоток,
ожог священный.
Не повседневным нищенством свершений,
но лишь тобой
я к миру ожила.
Когда настал
тот отрешенный миг,
и теплый снег
сошел чуть слышным звоном
на лес прозрачный,
призрачно-зеленый,
глаза и губы вдруг ошеломив —

сквозь тишину,
что упала ниц,
я на тебя смотрела —
и немела,
и петь — не знала,
плакать — не умела,
ослепнув вдруг
от собственных ресниц.



Чургуй-оол ДОРЖУ



Судьба моя, сегодня ты сурова,
а завтра будет все наоборот —
что ж, к мудрости такой бреду я снова,
как к водою старый конь бредет...

О, как мы все надеемся на лучшее!
Хоть жухнут листья, проча мерзлоту —
смеется иней, талую излучину
в декабрьском сне лелея, как мечту.

Ну, а душа? В извечной круговерти
то безутешна, то, как май, светла.
И новый смысл грядет за гранью смерти
по мановенью света и добра.

Исчезнут наши юные надежды,
растает легкой дымкой поутру —
но вечна жизнь.
И знак весны — он прежний:
смятенье верб на солнечном ветру.



На закате родясь, хлынул ливень жестокий.
Как хлестал, как умчался, неистовый, прочь!
Зажигает, как звезды, алмазная ночь
на притихшей листве капли блеском глубоким.

Зыбкий свет, свет последний угасшего дня,
лег тончайшим лучом от тебя до меня.

Расставания нашего вечер далекий.
Уезжаешь. Грустна. Обещаешь любить.
Твой автобус — как льдинка в ночи одинокой.
Сколько лет пролетело — не забыть, не избыть.

Дальний свет, свет печальный бесчисленных ночей,
он не твой и не мой — он давно уж ничей.

Отчего же сегодня вечерней порою
всех не сказанных слов так мучительно жаль?
И вернулась любовь, и нетленна печаль,
и опять я спешу за дождем и судьбою.

По далеким следам, по любимым следам —
к заплутавшему счастью с бедой пополам.



Владимир КАН-ООЛ

НАД ЛЮДСКОЮ ГЛУШЬЮ

Над людскою глушью
из замшелых крон
вниз сойдутся души
с четырех сторон.
Там твоей деревни,
пашни полоса,
песни звонниц древних —
хрупки голоса.

Как бы их услышать —
даль и чистый звон?..
Голубая крыша...
В ней висит твой стон.
То не купол неба —
память всех времен.
О дожде и хлебе
там мольба племен.

Пусть гремят там грозы
над судьбиной гнезд,
не застынут слезы
капельками звезд...

Над людскою глушью...

ПОВТОРНОЕ КИНО

Переболел тобою я давно,
багровые закаты позабыты.
Но вдруг попал в «повторное кино», —
вернула память мне твои заботы.

Экран мелькал под шелест губ твоих,
и была дрожь отчаянной судьбою.
На черном небе — звезды на двоих.
Как много счастья я носил с собою!

И вспомнил вновь задорное: «Лови!..»
И ветра посвист, неба колыханье...
Экран туманит. Где там соловьи!..
К губам склонилось легкое дыханье.

Жестокое повторное кино!
И первая любовь, ее забавы.
Приду я робко под твоё окно.
В лугах нас ждут некошеные травы.

□

Д р а м а т у р г и я

Кондратий ЕМЕЛЬЯНОВ

ГАУПТВАХТА

(Сцены из армейской жизни)

Действующие лица:

Начальник гауптвахты, подполковник.
Старший прапорщик.

Гарнизонный караул:

Начальник караула Петр Лукич, капитан.
Помначкар Бабченко Александр (20 лет), старший сержант — «Дембель».

Часовые:

старики: младший сержант Чумаков Сергей,
младший сержант Бурлюков Григорий,
сержант Постников Юрий;
молодые: младший сержант Шулеров — «Шулер»,
младший сержант Пискунов — «Пискун»,
сержант Роликов — «Ролик»,
несколько солдат.

Заклученные:

камера № 1: Седых Валера — «Старик»,
Иванов — «Дед»;
камера № 2: Акопян — «Ара»,
Федоров — «Дембель»,
Сидоров — «Бегунок»;
камера № 3: прапорщик — «Прапор»,
камера № 4: Лапотников — «Лапоть».

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Тюремная часть гауптвахты. По коридору ходит часовой Постников.
В камере № 1 поют: «Где мои семнадцать лет...»

«Дед». Часовой! Сержант! Подойди!

Постников. Ну, что надо?

«Дед». Передай в третью записку.

Постников. Не положено.

«Дед». Да брось ты. Полгода встречаемся здесь. Ты же не молодой. Службу знаешь.

Постников. Ладно, давай. *(Берет из дверной щели записку и просовывает ее в дверную щель третьей камеры.)*

«Прапор». Спасибо. Чаю у меня больше нет! Если сегодня принесут, то немножко подкину! А про песню, так она поется следующим образом *(запевает)*:

Цыганка старая, колода с картами,
колода с картами, казенный дом.
Быть может, старая тюрьма Таганская
меня, несчастного, по новой ждет.

Припев подхватывают заключенные из первой и второй камер:

Таганка. Все ночи, полные огня.

Таганка. Зачем сгубила ты меня.

Таганка. Я твой бессменный арестант,
погибли юность и талант в твоих стенах.

Входит начкар с пом. начкара ст. сержантом Бабченко, закрывает входную решетку за собой.

Постников. Товарищ капитан, за время несения службы...

Начкар *(машет рукой, перебивая Постникова. Отдает Бабченко ключи от камер)*. Открой все, кроме третьей. Пошерстим молодцов. *(Бабченко открывает камеры)*. Выходи строиться! Личные вещи вынести из камер!

Все выходят и выносят свои шинели.

Бабченко. Строиться!

Начкар вынимает из кармана список заключенных, читает:

— Акопян!

— Я!

— Иванов!

— Я!

— Седых!

— Я!

— Сидоров!

— Я!

— Лапотников!

— Я!

— Федоров!

— В армию забрали.

Н а ч к а р. Федоров! Ты пока еще военнослужащий. Отвечай, как положено. Иначе посажу в отдельную камеру. Федоров. Я!

Н а ч к а р. Так-то лучше будет... Барахлишко лишнее имеется? Неуставное? А в камерах? *(Заходит в камеру № 1, срывает со стен журнальные картинки, выбрасывает их в коридор. Проходит в камеру № 2. Выносит самодельные карты. Кладет их в свой карман.)* Сувенир на память. *(Стоит у камеры № 4.)* Тут целая библиотека! Ты смотри: и бумага, и конверты, и даже фломастеры есть у гаденыша.

«Л а п о т ь». С разрешения начальника гауптвахты.

Б а б ч е н к о. В прошлый наш караул мать его приезжала. Была у начальника гауптвахты. Все это передала на свидании.

Н а ч к а р *(молча кивает головой)*. Занести вещи обратно. По камерам! *(Заключенные заходят в камеры. Б а б ч е н к о замыкает двери. Начкар заходит в камеру № 4.)* Фломастеры японские? *(Л а п о т н и к о в молчит. Начкар, немного подумав, кладет фломастеры в свой карман, затем выбирает книгу.)*

Л а п о т н и к о в. Берите, товарищ капитан, я уже прочитал.

Н а ч к а р. Я тебе не товарищ... Достоевский. «Записки из подполья». Книжку верну. *(Выходит из камеры, Б а б ч е н к о замыкает за ним дверь.)* Мусор убрать. *(Уходит.)*

Б а б ч е н к о *(выбирает несколько журналов из кучи, кладет их за пазуху. П о с т н и к о в у)*. Остальные заберешь с собой, когда будем менять. *(Уходит.)*

И в а н о в. Сволочь. Весь интерьер испортил... Часовой! Верни хоть что-нибудь. Прошу тебя!

П о с т н и к о в *(подбирает несколько журналов и просовывает их в окошечко над камерой)*. Спрячьте, а то меня подведете.

И в а н о в. Спасибо, сержант.

П о с т н и к о в. Тише. Идут.

Входят начкар и старший прапорщик, начкар впускает ст. прапорщика в камеру № 3.

Н а ч к а р. Только 15 минут. *(Прикрывает дверь и уходит.)*

С т. п р а п о р щ и к. Ну, здравствуй! Я тебе поесть принес, немножко выпить. Одну бутылку пришлось ему отдать, чтобы пустил. Свой человек — не служака.

«П р а п о р». Спасибо, друг. *(Плачет.)*

С т. п р а п о р щ и к. Не раскисай.

«П р а п о р». Год. Почти что год вшей здесь кормлю.

С т. п р а п о р щ и к. На вот, выпей... Что нового говорит следователь?

«П р а п о р». Ничего не получается... Свидетели давно демобилизовались. Ищи их теперь по всей стране. Зав. столовой все отрицает.

С т. п р а п о р щ и к. Еще бы! Пятьсот тысяч на дороге не валяются.

«П р а п о р». Но ведь кому-то он продавал вещи? Должны же быть свидетели!

С т. п р а п о р щ и к. Кто покупал — тот и свидетель. Разве они это признают? А солдаты? Вспомни, может быть, кроме дембелей, кто-то еще видел?

«П р а п о р». Не помню.

С т. п р а п о р щ и к. Даже если и видел. Сам знаешь — солдаты не стучат. Замкнутый круг... А может, ты ему не давал ключи? Как-то странно ты поступил: никому ничего не сказал и махнул на юга, на неделю.

«П р а п о р». У меня там женщина! Не выдержал я. Со-скутился! Понимаешь!

С т. п р а п о р щ и к. Хорошо хоть погулял-то?.. Слушай, я скажу следователю, что ты при мне передал ключи Николаевичу. Только, сам понимаешь, — деньги пополам... Ну как?

«П р а п о р». Пополам, пополам, пополам, пополам! Было бы что делить! Нет их у меня! Нет! И не было никогда!

С т. п р а п о р щ и к. Тише ты... Значит, врешь ты все. Денежки ты спрятал у своей крали. Я Николаевича три года знаю. Он по-крупному не ворует. Жадничаешь... А я на тебя денег не жалел. Кроме меня, никто к тебе не приходит. Подумай. А если я отвернусь от тебя? Загнешься на солдатской перловке. Выхода у тебя нет.хлопотать за тебя никто не станет, разве что зазноба твоя, но что-то она тут до сих пор не появилась. Если деньги ей отдал — дурак. Но это дело поправимое: дашь мне ее адресок, я из нее все до копеечки вытрясу. Хапнул, так поделись. Николаевич за 10 лет службы достаточно наворовал — и детям, и внукам хватит.

«П р а п о р». Что ты со мной делаешь?

С т. п р а п о р щ и к. Ну так как? Давать показания на Николаевича?

«П р а п о р». Я подумаю... Приходи завтра.

С т. п р а п о р щ и к. Завтра — в последний раз. А то на-шел дурачка кормиться. Думай.

Гремит решетка, входит начкар, заглядывает в камеру.

Н а ч к а р. Пора.

С т. п р а п о р щ и к. Спасибо вам. (*Обернувшись.*) Не вешай нос! До завтра!

Оба уходят.

Л а п о т н и к о в. Эй, прапор! Третья!

«П р а п о р». Что надо, Лапоть?

Л а п о т н и к о в. Доворовался! Сволочь. Всех вас, прапоров, пересажать надо. Подонки, солдат обкрадываете. Пойдешь на вышку! Свыше двухсот тысяч — вышка!

«Д е д». Ты бы, Лапоть, помолчал! Солдат нашелся. Чмо! Стучал на ребят, вот тебя и сделали официальным стукачом. Знаю, выдрали тебя в полку! И в зоне будут драть! Постоять за себя не смог. Пострелял в потолок в караулке, да и заплакал. Мамочка ему посылки привозит. Денег твоей мамочке не хватит отмазать тебя!

Л а п о т н и к о в. Зато у прапора денег на всех нас хватило бы! Но он даже на себя жалеет!

«Д е д». Это не твое дело.

Л а п о т н и к о в. Я ни за что здесь сижу. Я не вор и не убийца, как ты и твой сосед.

«Д е д». Сука поганая! Заткнись! Я по пьянке подрался... А Валера — он тебе не чета, он смог за себя постоять.

Л а п о т н и к о в. Что смог? Подумаешь, «старик» морду набил. Так что же, сразу стрелять?

«Д е д». Он не стучал, как ты. Он сам все решил.

П о с т н и к о в. Валера. Я тебя узнал, земляк. Вспомни меня. В одной (*подойдя к двери*) учебке вместе были.

С е д ы х. Постников?

П о с т н и к о в. Вспомнил... За что тебя?

С е д ы х. Азербайджанца убил в карауле. Одно плохо — убил не сразу. В бедро пуля попала.

П о с т н и к о в. Стрелял из АК-74? Со смещенным центром тяжести?

С е д ы х. Да. Он в госпитале сгнил.

П о с т н и к о в. Понятно. Сколько ты здесь?

С е д ы х. Месяц как из Монголии привезли.

П о с т н и к о в. А ты когда его?

С е д ы х. Скоро год. Еще «молодым» был... Долго разбирались. Потом пересматривали решение трибунала. Сюда привезли.

П о с т н и к о в. Долго терпел?

С е д ы х. Трех дней хватило.

П о с т н и к о в. И послужить не успел.

С е д ы х. Теперь еще шесть лет Родине подарю... Зема, я письмо своим написал, отправь, там адрес указан. (*Просовывает в дверную щель письмо.*)

П о с т н и к о в (*берет*). Не волнуйся, отправлю. Тебе еще повезло, легко отделался.

Гремит решетка.

П о с т н и к о в. Завтрак принесли. Зема, я еще подойду.

Входят Бабченко, Бурлюков и Шулеров. Шулеров несет два бачка, Бурлюков — термос и вещмешок с хлебом. Проходят в конец коридора, в столовую.

Б а б ч е н к о. Дело знаешь. Возьми ключи. Я пойду. Не забудьте шесть порций сахару и масла взять для начкара, остальное — заключенным.

Б у р л ю к о в. Не учи ученого. (*Бабченко уходит*). Для начкара. Для себя! Оголодал. Знаю я его... Ну, Шулер, пошевеливайся.

Ш у л е р о в делит пайки.

А к о п я н (*со смехом*). Обьедают!

Б у р л ю к о в. Чего разорался! Вас тут как на убой кормят. Жрете да спите — не жизнь, а малина.

П о с т н и к о в. Шулер, себе отложи, поешь, когда разнесешь в камеры, а то голодным останешься.

Б у р л ю к о в. Наши дембеля, как были голодягами, так и остались. Аж противно.

Ф е д о р о в. Бурлюков? Ты, что ли?

Б у р л ю к о в. «Дембель»? Ты еще здесь?

Ф е д о р о в. Сижу, милый. Все никак не отправят. Выручи сигаретами по старой памяти.

Б у р л ю к о в. Сейчас. (*Сует в щель несколько штук.*)

Ф е д о р о в. Вот спасибо. Ну, как ты?

Б у р л ю к о в. Через полгода домой.

Ф е д о р о в. Везучий ты, не посадили.

Б у р л ю к о в. Комбат вытащил.

Ф е д о р о в. Хороший мужик, значит. А друг твой где?

Б у р л ю к о в. Чумаков? Тоже в карауле.

Ф е д о р о в. Но вы молодцы. Домой поедете.

П о с т н и к о в (*Бурлюкову*). Это когда вы с Чумаковым хлеборезку танкистов брали?

Бурлюков. Тогда. Нас с Чумаковым к Дембелю в камеру посадили. Молодыми были, глупыми.

Постников. Слушай, Шулер. Учись. Тебе еще полгода терпеть.

Бурлюков. Не делай таких глупостей. Нам тяжело было, не то, что вам. Мы хорошие, а вот дембеля наши, те голодьяги. Нам жрать почти не давали, хотя, когда они сами были молодыми, по помойкам ходили, хлеб собирали.

Постников. Но не все.

Бурлюков. Не все, но ходили. Кто ходил, те и сейчас самые голодные. *(Отмыкает первую камеру).*

Постников. Гриша, Валеру помнишь? Вместе в учебке были.

Бурлюков. Он, по-моему, в первом взводе был, лицо знакомое. За что?

Постников. Убийство.

Иванов. Мужики, хлеба еще дайте. Ферзя надо слепить.

Бурлюков. В шахматы играете? Это дело. Шулер, принеси еще кусок черного... Берите.

Иванов. Спасибо.

Бурлюков запирает первую камеру и открывает вторую.

Бурлюков. Еще раз здорово, Дембель! Я помню, как ты нам здесь с Чумаковым помогал. Тут будет наряд на разгрузку вина в магазин. Попробую тебя взять с собой.

Федоров. Вот за это спасибо. Только ты потише про это говори. Лапоть застучать может.

Бурлюков. Понял.

Слышен выстрел и визг собаки.

Шулеров. Что это?

Постников. Стреляли не из автомата.

Бурлюков. Начальник губы бродячих собак расстреливает. Прямо из форточки. Ружье у него отличное. Видел... Но ты, Дембель, готовься, где-то через час пойдем. *(Закрывает камеру.)*

Постников. Подожди, Сидоров? Ты же вроде слепым был? В госпитале?

Сидоров. Не помню.

Постников. Откуда? Ты же был слепым. Голос мой узнаешь? Помнишь, я тебя водил в баню, мыл. Теперь ты в очках. Тебя вылечили?

Сидоров. Лечили. Очки выписали.

Постников (Бурлюкову). Его в госпитале ребята подзревали, что он врет: через ямы перешагивал, когда подводили и толкали.

Федоров. А нам он говорил, что за драку. Разберемся.

Бурлюков. Разбирайтесь. (Закрывает камеру, открывает третью.)

«П р а п о р». Мне не надо... Ты бы лучше выручил меня. (Вынимает деньги и протягивает их Бурлюкову.) Возьми вина и курить. Две бутылки. Сдачу возмешь себе.

Бурлюков. Пойдет. (Берет деньги, закрывает камеру, открывает четвертую.) Четвертая! Шулеров, быстрее! (Шулеров заносит в камеру пайку.)

Лапотников. А мне? (Протягивает деньги).

Бурлюков. Рука у тебя... в этом самом. (Закрывает камеру.) Все! Юра, мы пошли. Тебя сейчас Шулер сменит. Шулер, когда с Бабченко соберете посуду, не мой ее, но напомни о ней Бабченко, он отправит Лаптя в столовую. Пусть стукач почистит тарелки. И полы в коридоре пусть помое... Черт, чуть не забыл. (Отдает Постникову пачку сигарет.) Ребята купили.

Уходят.

Постников. Валера, возьми. (Бросает пачку сигарет в окошечко над камерой.) Как же тебя угораздило?

Седых. Сам не знаю. Не хотел.

Постников. Испугался?

Седых. Нет. Его хотел напугать. Он на пост пришел.

Постников. Сам пришел. За смертью... Без разводящего?

Седых. С разводящим, но он не должен был менять меня, у него была другая смена.

Постников. Не вытерпел. Чем ты ему так насолил?

Седых. Сказал, что во время караула пристрелю его.

Постников. Решил проверить... Азербайджанцы не любят бурят. Старики все азербайджанцы были?

Седых. Все.

Акопян. Полегче там. В моем полку буряты над армянами точно так же издевались.

Постников. Крепко тебе доставалось.

Седых. Ты себя, молодого, вспомни.

Постников. Что вспоминать, как будто вчера все было. Тебе терпеть надо было. Теперь тебе еще хуже. Заболеть не смог?

Седых. Ты же знаешь, как молодых из госпиталя

встречают: били бы еще сильнее, как Талалаева. Помнишь его?

Постников. Которого в учебке сержанты доводили и нас подстрекали на то же, за то, что он написал командующему про солдатскую столовую? Что ложек нет и курсантам приходится есть руками? Дурак его фамилия. Не догадывался, что все письма проверяются, прочитываются штабными крысами.

Седы х. Он со мной после распределения в одну часть попал, и Якимук, рыжий.

Постников. Помню. Писарем у сержантов был.

Седы х. Талалаева списали, как психически ненормального.

Постников. Притворился?

Седы х. Не знаю. Мать его приехала, увезла на экспертизу. Больше он не появлялся.

Постников. Может, и в самом деле крыша поехала? Не замечал за ним?

Седы х. Он два раза вешался. Снимали с петли. Потом вену вскрыл. Его больше всех били, а когда его не стало, все на меня обрушилось. Не знаю, откуда, но про него в части, сразу как приехали, слух пошел, что он стукач. Я про него ничего никому не говорил.

Постников. Рыжий сказал. Эта сволочь всегда сержантам жопу лизал. Кому из вас теперь хуже: Талалаеву или тебе?

Седы х. Лучше всех Рыжему. Орлом домой вернется. Всех обманул.

Входят Бабченко и Шулеров. У Шулерова за плечом автомат.

Постников. Смена пришла. Валера, я постараюсь еще раз встать на этот пост. Поговорим.

Бабченко. Меняйтесь. Шулер, это твой первый гарнизонный караул. Главное — не спать. Если что, кричи. Вызов начкара не работает. Все, мы пошли.

Уходят. Шулеров садится на пол, уперевшись спиной в стену, засыпает.

КАРТИНА ВТОРАЯ

Караульное помещение: столовая, комната бодрствующей смены, комната начкара. У шкафа с оружием сидит Пискунов. Роликов в столовой раскладывает в тарелки кашу. В помещение входят Постников и Чумаков, ставят автоматы в шкаф для оружия и проходят в столовую. Садятся за стол.

Чумаков. А где мясо?

Роликов. Мясо дембеля и «котлы» съели.

Чумаков. Я тебя предупреждал, чтобы ты мне оставил мясо?

Роликов. Предупреждал.

Чумаков. Иди сюда. Ты что, «котлов» больше меня уважаешь? То, что они тебя воспитывают, а не я, еще ни о чем не говорит. Они должны тебя воспитывать, но я — «старик», и меня ты должен уважать больше. Сюда иди. *(Бьет Роликова по почкам.)*

Постников. Хватит.

Чумаков. Не твое дело. Он из моей батареи. Лучше займись своими молодыми, а то совсем распустились. Твой Пискун сегодня на посту спал. *(Роликову)* Давай масло.

Роликов подает масло Постникову и Чумакову. «Молодые» пьют чай без сахара и масла.

Постников. А им?

Роликов. Больше нет.

Постников. И масло сожрали, голодяги! *(Отдает свое масло «молодым».)* Ешьте.

Чумаков. Ты что, заключенных обсосал?

Постников. Заткнись.

Чумаков. Или такой хороший? А я, значит, плохой.

Постников. Пошел ты.

Входит Бабченко.

Бабченко. Что расшумелись? Чумаков!?

Чумаков. За молодых заступается.

Бабченко. Опять жратвы не хватило? Чумаков, ты мне это прекрати. Ты сейчас в гарнизонном карауле, а не в части. Здесь другой порядок. Придем домой, разберемся. Поели? Роликов, мой посуду, Пискун, на полы! Постников сядет у оружейного шкафа, а ты, Чумаков, к телефону.

Чумаков. Где начкар?

Бабченко. У начальника губы.

Чумаков, Бабченко и Постников проходят в комнату бодрствующей смены.

Бабченко. Пискунов! Мыть полы! *(Пискунов вскакивает.)* Опять спишь! На посту не выспался. *(Бьет Пискунова в живот.)* Быстрее!

Пискунов убегает.

Чумаков. Я говорю, что он распустил молодых.

Постников. Пусть моет полы, но бить не надо.

Чумаков. Добренький какой. Поэтому они у тебя и спят. Вот влетит такой молодой, а достанется всем нам.

Бабченко. Ты, Постников, разлагаешь дисциплину. Хорошо еще, что «котлы» в твоей батарее поумней тебя. От них пока еще не достается? *(Подмигивает Чумакову, тот кивает головой.)*

Входит Пискунов, несет ведро и тряпку, начинает мыть пол.

Чумаков. Пискун, ты не высыпаешься? Рановато ослабился. Я — старик, службу тащу, а ты спишь. Опозорить наш дивизион хочешь? Сволочь. Мало вас «котлы» гоняют. Лечь! Отжиматься! *(Пискунов отжимается от пола.)* Быстрее! Быстрее! *(Бьет Пискунова по почкам, тот падает на пол грудью.)*

Постников. Хватит.

Бабченко. Что хватит? Это ты должен с ним разбираться. Пискунов из твоей батареи. Или ты хочешь, чтобы он всему дивизиону на шею сел? Пискунов, отжиматься! *(Пискунов отжимается.)* Ну, Постников, заступайся, что же ты?

Постников. Пискунов, встать! *(Тот нерешительно поднимается.)*

Чумаков. Лечь! *(Пискунов ложится.)*

Постников. Пискунов! Ты из чьей батареи?! Встать!

Пискунов поднимается. Чумаков бьет его в грудь по пуговицам. Постников толкает Чумакова, тот отлетает. На шум из комнаты отдыхающей смены выходит Бурлюков.

Бабченко. Пискунов, иди мыть пол в столовой. *(Тот уходит.)* Постников, ты плохо понимаешь ситуацию. Я тебе ничего объяснять не буду. Пусть с тобой поговорят твои же товарищи. А я послушаю.

Чумаков *(Постникову)*. Сука. Сейчас ты отхватишь.

Бурлюков. Тихо. Юра, тебе же больше доставалось. Почему их жалеешь? Они потом тебя презирать будут.

Постников. Это мое дело. Я в друзья никому не навиваюсь. Особенно из их призыва *(указывает на Бабченко)*.

Бабченко. Простить не может, что от меня ему особенно доставалось. И не знает того, что доставалось потому, что нравился ты мне, интеллигент несчастный, метил тебя на свое место, на старшину дивизиона. Только нет в тебе злости, а значит, и понимания службы.

Бурлюков. Чистеньким хочет остаться. И теперешних «котлов» нам за него приходилось воспитывать. Воспитали. Чумаков. Ты вспомни, как нам доставалось от дембелей за твою доброту, когда мы сами «котлами» были. Тогда твоя молодежь стариков начала подальше посылать... Сука ты! Сколько мы тебя били, толку все равно нет.

Бурлюков. Какой пример «котлам» показываешь, а молодым? Кто служить будет?

Бабченко. Вот он и будет. Наравне с молодыми. Сейчас возьмешь тряпку у Пискуна и будешь мыть пол. Понял!.. Пискун! Неси сюда ведро и тряпку! *(Вбегают Пискунов с ведром и тряпкой.)* Ставь! Иди, мой бачки. *(Пискунов уходит.)* Постников, я — твой дивизионный старшина, приказываю тебе мыть пол.

Постников. Я такой же сержант, как и ты.

Бабченко. Что? Не хочется?

Постников. Я в свое время намылся.

Бабченко. Ты же против дедовщины. Мой, дели трудности службы с молодыми поровну. Равенства он захотел. Скоро свободы захочет. Как там, у французов, было? Свобода! Равенство! Братство! Братец мой.

Чумаков. Куда без дедовщины? Куда?! Так и мне с Гошей придется полы драить и хбэб себе, как молодым, стирать. А кто за техникой смотреть будет? Кто молодых владению техникой станет обучать? Из парка не вылазим, ремонтируем за ними машины. Втык за них получаем каждый день.

Постников. Вы — сержанты. В армии каждый должен делать свое дело. Я так считаю.

Бурлюков. Ты так считаешь. А чем ты лучше того же Петра? Он с нашего же призыва, только рядовой. Он что, по-твоему, хуже молодого сержанта? Нет. Он технику и службу во сто раз лучше молодого знает, этому в учебке и нас не научили, в свое время. А ты хочешь, чтобы какой-нибудь сопляк им командовал. Не будет этого. Армия должна быть боеспособной... А насчет рукоприкладства — то я не думаю, что Пискуну будет лучше, если его посадят на губу.

Бабченко. Пискун! *(Вбегают Пискунов.)* Тебе что лучше: на губе сидеть или по морде пару раз получить?

Пискунов. И то, и другое плохо.

Чумаков. Издевается. *(Бьет Пискунова в живот, Бурлюков добавляет ногой.)*

Бабченко. Тихо. Пискун, все-таки, что лучше? Решай

свою судьбу. Как скажешь, так оно и будет. Постников говорит, что лучше тебя посадить.

П и с к у н о в. Лучше по морде.

Б а б ч е н к о. Вот так-то, Постников. Или забыл, как сам на посту спал? Тебя тогда не посадили, пожалели.

Б у р л ю к о в. Да что он? Не знает, что ли, что по Уставу долго не проживешь — ноги протянешь. В наряды ходим — через день на ремень.

Ч у м а к о в. Дождется — от молодых получать будет, как чмо. Пример есть. Коленьку забыл?.. Будешь, как он, до последнего дня службы на тумбочке долбиться.

Б а б ч е н к о. Того мужички на кровати дернули. Стучал. Твое счастье, что ты не стучишь. Но, все равно плохо кончишь. Кстати, неужели ты думаешь, что Пискун тебя, своего заступника, зауважал? Пискун! Ты меня уважаешь?

П и с к у н о в. Да!

Б а б ч е н к о. Он искренне говорит... А Постникова ты уважаешь? (*Пискун молчит*). Это ты сейчас ничего не говоришь, потому что еще не решил для себя — уважаешь ты его или нет. Но скоро, очень скоро, когда ты станешь «котлом», ты поймешь меня и будешь презирать Постникова, больше того — ненавидеть, потому что он всегда будет стоять перед твоими глазами, когда ты будешь вынужден ударить молодого за его лень или тупость, ведь Постников тебя за это не бил. И придется тебе, Пискун, улыбнуться молодому и получить из-за него нагоняй от комбата. Постников уже сейчас лишает тебя права на справедливость. И будешь ты каждый день бояться: «Ах, как бы кто из молодежи не вытворил чего-нибудь». Иди, Пискун, подумай. Я тоже пойду, посмотрю — не спит ли кто на посту. (*Уходит, с ним уходит Пискун*).

Б у р л ю к о в (*Постникову*). Тебе, наверное, больше всех надо. Дурак. Отмучился свое. Служить осталось полгода. Не согласен с чем-то, молчи. Тебе-то что?.. Тебя уже вся дивизия, как святого, знает.

Ч у м а к о в. Хорошо стрелять — еще не значит быть хорошим сержантом.

Б у р л ю к о в. Жизнь понимать надо. Без дедовщины армия невозможна. Дедовщина всегда была и будет.

П о с т н и к о в. Не всегда.

Б у р л ю к о в. Что не всегда?

П о с т н и к о в. Не всегда была.

Б у р л ю к о в. Откуда знаешь?

Постников. Еще на гражданке интересовался.

Чумаков. Если знал, почему служить пошел? Мог бы и не идти. Ведь мог? Отец твой, кажется, большой начальник?

Постников. Не мог не пойти. Совесть не позволила. А отец мой — коммунист.

Бурлюков. Сейчас коммунисты ненастоящие. Мой комбат коммунист, а бьет с издевками. Сука он, а не коммунист. Ты, наверное, тоже коммунистом хочешь стать?..

Постников. Пока еще обдумываю этот вопрос.

Бурлюков. Эх, Юра, Юра, если бы не знал я тебя, вместе не тянули бы одну лямку, был бы ты мне — первый враг...

Чумаков. На дембель он нормально не уйдет. Только бы нас не подвел.

Бурлюков. Юра, зачем тебе все это. Живи, как все. А после нас пусть все огнем горит...

Постников. Я себе слово дал, как в нашу часть приехали, в первый же день, когда нас в каптерке обрабатывали. Помнишь, нас тогда «котлы» драться заставляли; слишком дружными мы им показались.

Чумаков. Герой нашелся.

Бурлюков. Помню... Сдались тебе эти молодые. Тут о себе думать надо. Дело, мужики, серьезное, будем советовать.

Чумаков. А что случилось?

Бурлюков. Дембеля посылочкой домой отправляют. Антенны с радиостанций и другую мелочь. Разъедутся по домам, а отчитываться нам всем придется.

Чумаков. Когда видел? *(С ведром и тряпкой входит Роликов.)* Чего тебе?

Роликов. Мыть.

Чумаков. Брысь отсюда! *(Роликов уходит.)*

Бурлюков. Вчера в парке зашел в батарейную каптерку, а там Бабченко это барахлишко в ящичек укладывает. Увидел меня, дернулся, но я успел разглядеть, что в ящичке лежало. Вида, конечно, не подал. Потом, перед самым инструктажом в караул, смотрю — он во взвод обеспечения подался, значит, к почтальону.

Чумаков. Лихо у них дело поставлено. Но ничего, скоро мы хозяевами в дивизионе станем.

Бурлюков. Лихо, не лихо... Надо что-то делать.

Постников. Похоже, они уже довольно-таки много такого добра домой отправили. Если не боятся, то, значит,

знают, что делают. Уверены, что мы у них без звука технику и аппаратуру примем. Не принимать! И точка! Пока все в целости и сохранности не представят. Или как-то заставить офицеров присутствовать при этой сдаче, объяснить комбатам, что таких и таких деталей не хватает. Пусть требуют с дембелей.

Чумаков. Тогда в свою очередь мы не сможем сделать то же. Уж лучше пусть комбаты и дальше ушами хлопают. Стыдно каждый месяц по десятке получать. И так первый год приходилось все до копейки отдавать то «котлам», то дембелям.

Постников. Разнылся. Как будто сам сейчас у молодых полочки не забираешь.

Бурлюков. А что на эти деньги купишь? Чемодан да бритву... да часы, если наскребется. Чумаков тоже прав.

Постников. О чем вы говорите! Тут боевую технику на глазах растаскивают.

Бурлюков. Брось. Ребятам домой ехать. Тут дело дисбатом пахнет.

Постников. Мне их не жаль.

Чумаков. Себя пожалей. Если с ними что-нибудь случится, они на тебя подумают. Ты у нас честный. Выбросят в одеяле с пятого этажа, и никто ничего не докажет. Машина в парке нечаянно наедет. И такое бывает.

Постников. А вы на что? Подстрахуете.

Бурлюков. Мы не всегда рядом.

Чумаков. Я вообще-то скоро в отпуск поеду. Так что в моей батарее технику будет комбат принимать...

Постников. Руки умываешь.

Бурлюков. Ладно. Все. Будь, что будет. Юра, ты только глупостей не делай. Там посмотрим, как дела развернутся.

Постников. Я один с целой армией не воюю.

Чумаков. В крайнем случае другие дивизионы обচিতите во время караула по парку. Не в первый раз. Нас, молодых, старики заставляли лазить в чужие ангары, и вы заставьте. Какая разница: у армии — для армии. Спишут, если еще догадаются узнать.

Постников. А вот здесь ты прав. Офицеры сами побоятся скандала: вдруг их грешки тоже всплывут?

Бурлюков. Точно. На это наши дембеля и рассчитывают.

Слышен выстрел и визг собаки. Заходит Бабченко.

Постников. Развлекается, черт бы его побрал.

Бабченко. Так, мужики, начкар сказал, чтобы одного заключенного, побезопаснее, отправили на разгрузку вина в магазин.

Бурлюков. Я поведу. Тут у меня зема сидит. Не сбежит.

Бабченко. Дело ты знаешь. Бери его. Про нас не забудь: я отправлю кого-нибудь из молодых с вещмешком к тебе. Затаримся. Где Пискун? Пискун! *(Входит Пискунов.)* Опять спишь? Бери автомат. Пойдешь на ту сторону губы, дам тебе губаря, чтобы он собак дохлых в мусорные баки выкинул. Смотри, не проспи губаря, а то сам сядешь. *(Пискунов и Бурлюков берут автоматы.)* Роликов! *(Вбегают Роликов.)* Бери вещмешок и за мной! Все. Пошли. *(Уходит.)*

Чумаков. В шашки будешь играть?

Постников. В шахматы.

Входит начкар, молча кладет на стол перед Постниковым газеты, уходит в свою комнату.

Начкар. Чумаков. Зайди. *(Чумаков заходит в комнату начкара.)* Садись... Прямо в глаз вlepил. Пришлось положить на мушку. Щенок. Крупный. Один черт: не я, так начальник губы пристрелил бы. Пospорили... Что у вас тут происходит?

Чумаков. Все в порядке.

Начкар. Бабченко отправил в магазин заключенного?

Чумаков. Да.

Начкар. Сам он где?

Чумаков. Пошел посты проверять.

Начкар. Хорошо... Документы на твой отпуск оформляются. Парень ты толковый. Знаю тебя год. Будем дальше так же дружить — поедешь домой, на дембель, сержантом. Зема. Так среди солдат земляков называют?

Чумаков. Так точно.

Начкар. Ты из Киева?

Чумаков. Да.

Начкар. Может быть, и встретимся там, после твоего дембеля. Дочь у меня красавица... Хочешь фотографии посмотреть? Сейчас на почту ходил получать. Это мой двухэтажный домик. Моя машина. Моя собака на фоне садика. Вот дочка с женой. Нравится? Мне — тоже. Приедешь ко мне, познакомишься.

Чумаков. Обязательно приеду.

Н а ч к а р. Я имею в виду твой отпуск. Заедешь к моим, кое-что передашь.

Ч у м а к о в. Хорошо, товарищ капитан.

Н а ч к а р. Половину караула, значит, оттащили... По-моему, послезавтра наш дивизион дежурит в столовой. Старшим пойдешь ты. Я тебя записал в журнале КД. Все сделаешь, как обычно; домой сам доставишь: масла 1,5 кг, мяса 3 кг, лучше свинины, если будет, сахару 2 кг, сухофруктов 1 кг, обязательно гречку, 1 кг. Не надорвешься?

Ч у м а к о в. Нет, не надорвусь, товарищ капитан.

Н а ч к а р. Смотри, не влети. Но не бойся, вытащу. Ты меня знаешь. Пока все. Иди... Да, как молодые?

Ч у м а к о в. Пока справляются... Пискунов заснул на посту.

Н а ч к а р. Он из четвертой батареи?

Ч у м а к о в. Да.

Н а ч к а р. Не он первый, не он последний. Разобрались? Кто у нас из стариков из четвертой? Постников?

Ч у м а к о в. Разобрались, правда, без Постникова.

Н а ч к а р. Все умничает.

Ч у м а к о в. Говорит, что раньше дедовщины не было.

Н а ч к а р. Смотри, куда замахнулся. Правдоискатель.

Ч у м а к о в. Такие подрывают обороноспособность страны. На китайцев работает.

Н а ч к а р. Ну, это ты слишком. Ладно. Иди.

Ч у м а к о в. Товарищ капитан, тут такое дело...

Н а ч к а р. Выкладывай.

Ч у м а к о в. Слух прошел, будто бы дембеля посылки с дефицитными запчастями домой отправляют.

Н а ч к а р. Кто?

Ч у м а к о в. Бурлюков сказал.

Н а ч к а р. Кто посылал?

Ч у м а к о в. Бабченко.

Н а ч к а р. Над ним КД шефствует — земляки... Это точно?

Ч у м а к о в. Бурлюков не станет врать.

Н а ч к а р. Хорошо, что человек не врет. Но ты про это молчи. Скажешь, когда велю. Теперь иди.

Ч у м а к о в уходит в комнату бодрствующей смены.

П о с т н и к о в *(не отрываясь от газеты)*. Не выдержал — ляпнул.

Ч у м а к о в. Слышал?

Постников. Вообще-то правильно. Но не так надо бы... Предупреди Бурлюкова. А то и ему достанется, за то, что знал, да молчал. Пусть сам решает, что ему делать... В любом случае я вас поддержу. Хоть вы этого и не стоите.

Входят Бабченко, Роликов и Пискунов. Пискунов ставит автомат в шкаф для оружия. Роликов проносит вещмешок в комнату отдыхающей смены.

Бабченко. Все в порядке?

Чумаков. А у вас?

Бабченко. Как видишь. Начкар здесь?

Начкар. Бабченко! *(Бабченко уходит в комнату начкара.)* Вино разгрузили?

Бабченко. Заканчивают. Там Бурлюков с заключенным.

Начкар. Собак убрали?

Бабченко. Так точно. Лапотников уже в камере.

Начкар. До обеда осталось два часа. Через час выгуляем заключенных. И готовь помещение к сдаче.

Бабченко. Кто нас меняет, товарищ капитан?

Начкар. Танкисты.

Бабченко. Танкисты дошлые, долго будут принимать.

Начкар. Я в тебе не сомневаюсь. Погоняй ребят, чтобы все было в полном порядке...

Бабченко. Будет сделано.

Начкар. Когда домой? КД не говорил?

Бабченко. Жду не дождусь. Даже странно, что в наряды по-прежнему хожу, а отправить должны со дня на день.

Начкар. Потерпи. Считай этот наряд своим дембельским аккордом; молодежь надо получить, смену как следует подготовить... Сам-то как считаешь — два года не зря Родине отдал?

Бабченко. Конечно, не зря. Очень многое понял. Теперь будет легче жить.

Начкар. Ты — комсорг дивизиона, по-моему?

Бабченко. Да. Точнее — был. Все дела уже сдал Роликову.

Начкар. Он справится?

Бабченко. Справится. Я стал комсоргом в первый период своей службы, еще молодым.

Начкар. Тяжело тебе приходилось... Ты советовался с замполитом дивизиона насчет кандидатуры Роликова?

Бабченко. Конечно. Замполит опирается на мое мнение. Я всех ребят хорошо знаю: и в службе, и в быту.

Н а ч к а р. А может быть, следовало назначить кого-нибудь постарше призывом? Например, Постникова.

Б а б ч е н к о. У «котлов» и стариков дел хватает, к тому же пока старослужащий войдет в курс дела, глядишь, ему пора демобилизоваться, и поработать не успеет. А насчет Постникова, так у него характер необтекаемый, сами знаете, что с людьми он ладить не умеет. Такому только дай власть, он сразу напортачит: упрется, как баран в ворота, в свой принцип, пока лоб себе не расшибет.

Н а ч к а р. Да, он такой. Ты считаешь, что такие люди только вредят общему делу?

Б а б ч е н к о. Конечно. Помните, как во время полковой проверки он пожаловался проверяющему на то, что почта почти всегда вскрытой приходит, что денежные переводы из дому часто не доходят, а посылки вовсе исчезают? Даже не постеснялся — весь полк слышал. А что из этого вышло? Командиру полка досталось ни за что, тот в свою очередь наказал заведующего клубом — кристально чистого человека, да псчтальона заменили, как будто он во всем виноват. Посылки не получали, сукины дети: сами же заказывали домой товары по просьбе командиров; а где офицер в этом проклятом Забайкалье найдет себе необходимое? И не будут же они при всех своих подчиненных брать вещи и продукты из солдатских посылок — некрасиво. Вот такие солдатики пользуются признательностью своих командиров, а сами жалуются на них между собой — жадность заедает.

Н а ч к а р. Тем более, что часто присылают из дому вещи, недопустимые Уставом: чачу, наркотики, шерстяные тряпки — вшей плодить. Правильно говоришь, Бабченко.

Б а б ч е н к о. Насчет тех же отпусков — как будто их легко оформить! Но ведь дождутся, уедут счастливые, а обратно с пустыми руками возвращаются. Катаются за «спасибо».

Н а ч к а р. Все точно. Нравишься ты мне, Бабченко. Жаль, что не в моей батарее служишь. Мы бы с тобой нашли общий язык. Я скажу командиру полка о тебе. Думаю, что почетная грамота в будущем тебе не помешает. В институт будешь поступать?

Б а б ч е н к о. Думаю об этом.

Н а ч к а р. Правильно. Но вот насчет своей замены в комсомольской деятельности подумай. Постников, конечно, не подойдет, а вот Чумаков, по-моему, потянет.

Б а б ч е н к о. Мы на комсомольском собрании уже ут-

вердили кандидатуру Роликова. Чумакову я предлагал, но он отказался.

Н а ч к а р. Ничего. Согласится. Роликова можно и переизбрать, по инициативе солдат. Ты меня понимаешь?

Б а б ч е н к о. Так точно.

Н а ч к а р. Ну и молодец. Я умным ребятам всегда помогаю. Я пока пойду пообедаю с начальником губы... Если что — звони. *(Жмет руку Бабченко, уходит).*

Б а б ч е н к о проходит в комнату бодрствующей смены.

Б а б ч е н к о. Роликов! *(Вбегает Роликов).*

Р о л и к о в. Я.

Б а б ч е н к о. Ты отнес комсомольские взносы в штаб? Простамповал комсомольские билеты?

Р о л и к о в. Не успел.

Б а б ч е н к о. Билеты у всех комсомольцев собрал?

Р о л и к о в. У всех.

Б а б ч е н к о. Так какого черта медлишь? Подвести меня хочешь? Перед самым дембелем свинью подкладываешь.

Р о л и к о в. Деньги не все сдают.

Ч у м а к о в. Что? Какие деньги? Идиот! Из своих платить надо. Понял? Молод ты еще, чтобы деньги тебе давать. Бабченко целый год своими кровными расплачивался.

Б а б ч е н к о. Ты мне дурачком не прикидывайся. Взносы уже неделю не можешь заплатить. Мероприятия никакие не проводишь. Стенгазету не выпустил. В чем дело?

Р о л и к о в. Когда?

Б а б ч е н к о. Времени ему не хватает. Где мой комсомольский билет? *(Роликов вынимает из кармана и отдает билет Бабченко.)* Почему без обложки?

Ч у м а к о в. А мой?

Р о л и к о в. В казарме, в тумбочке.

Ч у м а к о в. А если украдут? Сволочь, хочешь персональное дело мне приклеить?

Р о л и к о в. Куда я их дену?

Ч у м а к о в. Куда хочешь. С собой носи.

Б а б ч е н к о. Придется пересмотреть твою кандидатуру. Не справляешься. Что тебе сделать за мою обложку? Чтобы завтра у меня была новая.

Р о л и к о в. Товарищ старший сержант, я не знаю, кто ее снял. Ночью сняли. Но я куплю. Займу денег и куплю.

Б а б ч е н к о. Так что, Чумаков, не видать тебе обложки с твоего комсомольского.

Ч у м а к о в. Не дай бог, убью.

Входит Бурлюков, ставит автомат в шкаф для оружия.

Бабченко. Не тянешь, Роликов. Не тянешь. Мышей не ловишь. А я на тебя надеялся.

Роликов. Извините. У меня не получается.

Бабченко. Сегодня вечером, после караула, будем переизбирать. Иди, Роликов, подумай о том, как дальше жить будешь. *(Роликов уходит в столовую. Постников смеется.)* Чего ржешь?

Постников. Хорошо играешь.

Бабченко. Помолчал бы. Мало тебе в свое время от меня доставалось.

Постников. Попробуй: на дембель без зубов поедешь...

Бабченко. Что ты сказал?

Постников. Что слышал.

Чумаков поднимается, чтобы поддержать в драке Бабченко, но Бурлюков его удерживает.

Бурлюков. Не лезь. Постников нашего призыва.

Постников. Бабченко, ты же знаешь, что я тебя сейчас, как щенка, отделаю. А потом пусть твой КД садит меня на губу. Но ты поедешь домой без зубов: по одному выбивать буду.

Бабченко. Хорошо. В казарме поговорим.

Постников. Поговорим. Мне есть что сказать тебе и твоим дембелям. Смотрите, задницы не опалите. Воришки.

Бабченко. Ты это про что?

Постников. Про посылочки. Бурлюк, ты меня поддержишь?

Бурлюков молчит.

Бабченко. На дембелей замахваешься?

Постников. Им тоже хочется домой нормально вернуться. Я не думаю, что они тебя поддержат. Так что засунь свой язык в...

Бабченко. Не ошибись. Я уже демобилизовываюсь, а тебе с КД еще полгода служить.

Постников. Так ты что, для КД ящичек собирал?

Бабченко. Какой ящичек?

Постников. Дурак ты, Бабченко, теперь не я один про это знаю.

Бабченко. Ничего ты не знаешь.

Постников. Надо будет — военная прокуратура уз-

нает. Так что иди, Бабченко, и подумай о том, как ты дальше жить будешь.

Б а б ч е н к о. Не волнуйся. Я с людьми уживаюсь. А вот ты, ты вряд ли домой нормально вернешься.

В караульное помещение вбегает начкар.

Н а ч к а р. Караул, в ружье! Строиться! *(Все хватают автоматы из шкафа с оружием и строятся в помещении.)* Из разведбата угнана БМП, которая движется по направлению к городу. Получен приказ — задержать угонщиков и доставить вместе с машиной на территорию гауптвахты. Назначаю группу захвата: Бурлюков, Постников, Федоров, Сидоров, Иванов. Я еду с вами. Поедем в дежурной грузовой машине. Иванов, машина готова?

И в а н о в. Так точно.

П о с т н и к о в. За танком на грузовике.

Н а ч к а р. Разговорчики. Вместо меня остается Бабченко, помощником — Чумаков. Вопросов нет? Тогда в машину.

Уходят. Остаются Б а б ч е н к о и Ч у м а к о в.

Б а б ч е н к о. По-моему, Постников хамит.

Ч у м а к о в. По-моему, уже давно. Допрыгается.

Б а б ч е н к о. На мое место метит.

Ч у м а к о в. Куда ему. КД его не любит.

Б а б ч е н к о. Не скажи. У него комбат — сила. Защищает Постникова.

Ч у м а к о в. Такой же принципиальный.

Б а б ч е н к о. Ты не знаешь, про что это Постников говорил мне сейчас?

Ч у м а к о в. Да как сказать. Догадываюсь.

Б а б ч е н к о. Бурлюков сказал? *(Чумаков кивает головой.)* Что будем делать? *(Чумаков пожимает плечами.)* Я думаю, что ты — самая подходящая кандидатура на мое место старшины дивизиона.

Ч у м а к о в. Я тоже так думаю.

Б а б ч е н к о. Бурлюков туго соображает, о Постникове и говорить не приходится... КД прислушивается к моим рекомендациям.

Ч у м а к о в. Постников грамотный, «котлы» и молодые любят его. Правда, не все.

Б а б ч е н к о. Назначают не молодые. Назначает КД. Он тоже понимает, что Постников развалит дисциплину. Сегодня молодой на тебя плюнул, а завтра — на КД. Еще посмотрим,

что «котлы» скажут насчет постниковского гуманизма... Тебе надо стать комсоргом дивизиона. Сегодня же вечером переизберем Роликова. Это не я, это твой комбат так хочет... И поговори с Бурлюком, пусть паники не поднимает. Имущество, которое он видел в ящике, списанное. Ему за него отвечать не придется. Вы, после нас, сделаете то же самое, если Постников вас не продаст. Именно поэтому КД его недолюбливает. Ты меня понял. Хорошо бы Постникова наказать. Лучше — убрать на время на губу, пока мы не демобилизуемся.

Чумаков. Как?

Бабченко. Ты сейчас отнесешь вино в часть, но одну бутылочку положим в противогаз Постникова. Я сообщу начкару, что в камерах пьянка, начкар начнет всех трясти и вытрясет эту бутылку.

Чумаков. Начкар подумает, что Бурлюков пронес вино.

Бабченко. Если не дурак, Бурлюков будет молчать. Учти, своя рубашка ближе к телу. А Постников на Бурлюкова стучать не станет. Начкар будет вынужден сообщить о происшедшем начальнику губы, а тот... тот не любит долго разбираться. Ничего страшного: недельку-другую Постников отдохнет на губе.

Чумаков. У него тут земляк сидит за убийство.

Бабченко. Вот и чудненько. Все сойдется. *(Выносит из комнаты отдыхающей смены вещмешок).*

Чумаков. Я ничего не видел.

Бабченко машет рукой на слова Чумакова и кладет бутылку с вином в противогаз Постникова.

Бабченко. Готово. Вещмешок спрячешь в сушилке. Неси.

Чумаков. Успею. Не мешало бы с молодежью поработать, пока никого нет.

Бабченко. Валяй.

Чумаков. Пискун! Ролик! *(Вбегают Пискунов и Роликов.)* Хлопцы, сейчас я буду проводить маленький инструктаж. С согласия нашего дивизионного старшины... Слушайте меня внимательно и делайте выводы. Товарищи сержанты, вы отслужили в рядах доблестной Советской Армии полгода — самое тяжелое время для солдата. В нашем полку находитесь три месяца. В учебке вы изучили Устав, а в полку прошли курс стирки и шитья, узнали, что такое порядок в действующей части и на чем он держится... С уходом дембелей из ди-

визиона и приходом пополнения из карантина вы примете нашу солдатскую присягу, которую по нашему дедовскому приказу проведут «котлы», теперешние «черпаки», которых мы, в свою очередь, переведем в звание «котлов». Этого часа вы ждете с нетерпением. Так?

П и с к у н о в. Так точно.

Ч у м а к о в. А ты, Роликов, хочешь стать «черпаком»?

Р о л и к о в. Хочу.

Ч у м а к о в. А почему ты хочешь стать «черпаком»?

Р о л и к о в. Легче служить.

Ч у м а к о в. Правильно — легче.

Б а б ч е н к о. А заслужил ты право называться «черпаком»?

Ч у м а к о в. А вы знаете, что не всех переводят? Бывают такие случаи. Помните Колю-чмыря? Вы его успели застать: вонючего, грязного — до последнего дня службы на тумбочке долбился. Его даже в «черпаки» не переводили, потому что не заслужил. Когда ребята с его призыва по своей молодости пахали, он в госпитале отдыхал, а как только вернулся в часть, стучать начал потихоньку: то в штаб армии напишет, то еще куда. Офицеры этого не любят.

Р о л и к о в. Все это мы знаем.

Б а б ч е н к о. Хорошо, что знаете. Да забываете иногда.

Ч у м а к о в. Где ваше почтение к старшим? Потеряли? Учтите: в «черпаки» вас ни один главнокомандующий не переведет. Только мы...

П и с к у н о в. Так точно.

Ч у м а к о в. Роликов, ты почему мяса мне не оставил сегодня? Сам сожрал?

Р о л и к о в. Я отложил мясо, но старший сержант Бабченко забрал его у меня.

Ч у м а к о в. Ну и что? Ты должен был предусмотреть это. Сынок, впредь откладывай мясо в отдельную тарелку. И знай, кому давать, а кто и обойдется. Постникову мог бы и не давать. Он такой же, как и ты.

Р о л и к о в. Он — «дед»...

Б а б ч е н к о. Мы его в «котлы» не переводили. Он даже не «черпак».

П и с к у н о в. Как так?

Б а б ч е н к о. Не дался он.

Р о л и к о в. Но он...

Ч у м а к о в. Что он?

Р о л и к о в. Служит так же, как и все старики.

Б а б ч е н к о. Ты себя с ним не равняй. У него голова

хорошо работает. Другого бы давно зачмырили, а этот выдержал. И стреляет он — будь здоров, не каждый сержант сможет. Многие боятся. Машина реактивной артиллерии — не игрушка; снаряды прямо над головой летят. Многие командиры боевых машин уезжают на дембель, так ни разу и не выстрелив.

Чумаков. Ладно, хватит об этом. Зимой на стрельбы поедете, все увидите.

Бабченко. Не перебивай меня, Сережа... Постников не признает дедовщину, но не во всех ее проявлениях. Подворотнички, я знаю, он вам — молодым — не дает стирать и подшивать, сам свои вещи стирает, но полы вместе с вами он не станет мыть.

Роликов. По-хорошему, сержанты не должны мыть полы. Есть рядовые.

Чумаков. Я вижу, ты сильно умный, товарищ сержант... Объясняю: сержанты — это только звание, для ответственности в случае чего-нибудь, а вот «дед» или «котел» — это жизнь, целая жизнь, прожитая в армии. Армия имеет две жизни: одну формальную и другую настоящую. В формальной жизни ты принимаешь одну присягу — государственную, а в настоящей жизни ты примешь три присяги. Есть разница? И разница между этими присягами огромная: или ты проговоришь перед строем несколько пионерских обещаний, или болью закрепишь свою связь с армией, с товарищами по службе. Есть разница?.. В формальной жизни ты — защитник Родины, в настоящей — никто, бесполезная единица, один из миллионов, которые пьют и едят, и еще сторожат себе подобных и технику. Полезные единицы там — в Афгане... Ты понял меня, сынок.

Роликов. Я не сынок. Я старше тебя на шесть лет, у меня есть сын. Когда я был на гражданке, я был мастером цеха, у меня в подчинении было пятьдесят человек.

Бабченко. Роликов, я это знаю из твоего личного дела. Здесь не гражданка. Ты должен подчиняться требованиям Армии. Или ты имеешь что-нибудь против нее?

Роликов. Имею. Против вас.

Чумаков. Что такое? На корабле бунт?

Бабченко. Что-то ты поздно вато взбунтовался. Надо было с самого начала, как пришел в часть, а то мы тебя так сразу и не разглядели.

Роликов. Я не сразу все понял. Спасибо, что разъяснили.

Чумаков. Так ты к тому же еще и тупой. *(Бьет Роликова, тот уворачивается).*

Бабченко. Тихо. Тихо, Сережа... Пискунов, ты одобряешь действия Роликова? Ну!

Пискунов. Не одобряю.

Бабченко. Я вижу, что службу ты понимаешь, в отличие от него. Приказываю: бей Роликова. Бей!

Пискунов. Не буду.

Бабченко. Бей! Или потом, в казарме, вам будет хуже. *(Чумаков бьет Роликова, тот падает. Бабченко бьет Пискунова, тот отлетает к стене).* Бей! *(Пискунов бьет Роликова, тот пытается ответить Пискунову, но Пискунов сбивает Роликова на пол ударом ноги в живот).*

Чумаков. Неплохо, Пискунов. Из тебя получится хороший дед. Драться ты здоров. Где так научился?

Пискунов. До армии год каратэ занимался.

Чумаков. Меня научишь.

Бабченко. Пискунов, неси его в комнату отдыха, пусть отлежится. *(Пискунов уволакивает Роликова в комнату отдыха.)* А не произвести ли нам его в «черпаки»? Помоему, он этого заслуживает. Каратэ знает, значит, будут бояться. Из него классный старшина дивизиона получится. После тебя.

Чумаков. Давай произведем. *(Входит Пискунов.)* Пискунов, скажи-ка мне — сколько пряжек положено молодому при принятии присяги?

Пискунов. В «черпаки»?

Бабченко. Ну не в «котлы» же мы тебя будем производить.

Пискунов. По числу месяцев, оставшихся до дембеля.

Бабченко. Так сколько?

Пискунов. Восемнадцать!

Чумаков. Верно. *(Ставит табуретку ножками вверх.)* Тогда становись. Будешь из молодых первым «черпаком»; им еще пару недель придется подождать.

Пискунов на четвереньках становится на ножки табуретки. Бабченко снимает с себя солдатский ремень.

Бабченко. Не откажу себе в удовольствии — в последний раз произведу в «черпаки» молодого. *(Бьет Пискунова по заднице пряжкой ремня. Пискунов срывается с табуретки).*

Чумаков. Слабоват ты, братец, в коленках. Теперь все по новой придется начинать. Дурачок. Руками крепче держись за ножки.

Бабченко. Вставай, Пискун, быть тебе «черпаком».

Пискунов становится на табуретку.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Территория гауптвахты. Двор. Слышен рев моторов подъезжающих боевых машин. Моторы замолкают. Во двор выбегает Бабченко. Раздаются команды: «Из машины! Строиться! Задержанных в камеру!» Четырех танкистов конвоируют сержанты Постников и Бурлюков с Бабченко, уводят задержанных в помещение гауптвахты. Во двор входит начальник гауптвахты.

Начальник. Караул, строиться!

Караул строится. Постников, Бурлюков, Бабченко возвращаются во двор и становятся в строй.

Начкар. Равняйся! Смирно! Товарищ подполковник, ваш приказ выполнен: нарушители задержаны. Во время выполнения задания особенно отличился сержант Постников, проявив смекалку и храбрость.

Начальник. Вольно!

Начкар. Вольно!

Начгубы. Что говорят задержанные?

Начкар. За самогоном ехали.

Начгубы. Понятно. Караул, смирно! Сержанту Постникову объявляю благодарность.

Постников. Служу Советскому Союзу!

Начгубы. Я сообщу вашему командованию полка о происшедшем и буду ходатайствовать о предоставлении вам краткосрочного отпуска на родину. Караул, смирно!.. Получена телефонограмма, в которой сообщается о том, что наш всеми горячо любимый, дорогой наш Леонид Ильич Брежнев после продолжительной болезни скончался...

Постников. Наконец-то.

Начкар. Разговорчики в строю!

Начгубы. Приказываю, для предотвращения возможных беспорядков на территории военного городка, службу нести особенно бдительно. Караулу постоянно находиться в состоянии боевой готовности. Граница рядом... Вопросы есть?.. Нет. Вольно. Начальнику караула подойти ко мне,

остальные разойдись! *(Все уходят в караульное помещение.)*
Что это сейчас Постников сказал?

Н а ч к а р. Он у нас правдолюб.

Н а ч г у б ы. Понятно. Обойдется без отпуска. Но благодарность сохранить. Пойдем ко мне. Помянем Леонида Ильича. *(Уходят.)*

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Помещение для заключенных. Камеры. По коридору ходит часовой Ш у л е р о в.

«Д е д». Мужики! Слышали?! Брежнев умер!

«А р а». Жалко. Хороший человек был. Он любил армян.

«Л а п о т ь». Интересно, кто на его месте будет?

«Д е д». Прапор! Ты нас поумнее. Скажи, кого поставят?

«П р а п о р». Думаю, Андропова.

«Д е д». Это который КГБ командовал?

«П р а п о р». Он.

«Л а п о т ь». Эй! Прапор! Теперь тебе хана. Отворовались. Вот увидите, как он всех взяточников за горло возьмет; и тебя к стенке выведут. Хапнул полмиллиона. Расстреляют.

«Д е м б е л ь». Заткни свой поганый язык. Смотри, как бы ты сам в зоне не загнулся... Но это хорошо, что новый правитель пришел: амнистию объявит. Может, срок скостят.

«Л а п о т ь». Кому амнистия, а кому — конец.

«П р а п о р». Лапоть! Ты что, чифанишь? Навонял дымом.

«Л а п о т ь». Это мое дело. *(Кипятит воду в кружке, которую держит над горячей, свернутой трубочкой тряпкой.)*

«Д е м б е л ь». Это он назло нам. Вредит. Психует, что выпить ему не дали.

«Л а п о т ь»: Суки. Пожадничали. Я вам больше не буду давать журналы, и без карандашей будете теперь обходиться.

«П р а п о р». Ладно. Крути трубку. Налью немного.

«Л а п о т ь». Вот спасибо. *(Скручивает длинную бумажную трубку, просовывает ее в дыру, где проходит труба батарей отопления, к трубке подставляет тарелку.)* Готово!

Прапорщик льет вино в один конец трубки.

«Л а п о т ь». Ну еще хоть капельку!

«П р а п о р». Хватит. А то буянить начнешь.

«Д е д». Зря ты ему налил.

«П р а п о р». Он тоже человек.

«А р а». Какой он человек. Стукач он, а не человек.

«Лапоть». Я не стукач, но честный гражданин, пытающийся по возможности искупить свою вину перед Родиной.

«Дембель». Как поет!

«Лапоть». Я не стучу, а сообщаю факты. И то, заметьте, не все, а только те, которые считаю нужным сообщить. Кстати, я сам не полностью согласен со всем тем, что происходит в нашем государстве и в армии, и поэтому часто сведения, которые интересны моему начальству, не сообщаю, потому что мне нравятся некоторые из моих клиентов; чем подвергаю себя некоторому риску. Вдруг это всплывет, тогда меня за мое умышленное молчание по головке не погладят. И потом, вы все знаете, что я работаю осведомителем, и все равно треплетесь. Я вас за язык не тяну. Вообще будьте мне благодарны за то, что я с вами: если бы на моем месте сейчас сидел другой, то вы бы не пили винцо и журнальчиков моих не читали.

Седы х. Тебя послушать, так ты в армии — главный человек: на кого хочешь и что хочешь, то и говоришь. Тебе, что, всегда верят?

«Лапоть». До сих пор верили. Без меня не то, что на губе — в армии обойтись не могут.

«Дембель». Сколько же, сука, из-за тебя людей пострадало? Не считал?

«Лапоть». Считал. Но ты не думай, что они святые; свсложи они и получили за дело. Совесть моя чиста.

«Прапор». «Лапоть», скажи, ты про мой разговор с гостем тоже расскажешь начальнику губы?

«Лапоть». Конечно.

«Ара». Сволочь. Прапор, ты ему еще налей, он тогда про тебя еще от себя что-нибудь наплетет подполковнику.

«Прапор». Лапоть, а если я тебе еще налью?

«Лапоть». Все равно что-нибудь придется говорить. Ты думаешь, что он меня не спросит? Врать я не люблю. Мой принцип — работать честно.

«Прапор». Будем считать, что я пошутил, а то ты и наш с тобой разговор передашь.

«Лапоть». Обязательно.

«Прапор». Тогда слушай меня внимательно. Я не воровая вещи из проклятого склада. Ключи, действительно, передал начальнику столовой... Я буду ждать справедливости.

«Лапоть». Ты что, на Андропова надеешься? Ему со своими КГБ и МВД еще разобраться надо. Ему не до тебя. Сидеть тебе здесь, пока с ума не сойдешь.

«Дембель». Эй, новенькие! За что попались? Почему молчите?

«Л а п о т ь». Пьяные они. Спят.

«Дембель». Наши люди. Мы тоже выпьем. Ара, наливай.

«Ара». Мало осталось. Может, подождем?

«Дембель». Кого ждать? Начкара? Чтобы с ним допить.

«Ара». И то верно. Спасибо сержанту. За его здоровье.

«Дед». Ребята, спасибо вам за вино!

«Дембель». Пейте... Сидорову хватит, не наливай.

«Ара». Почему хватит?

«Дембель». Не нравится он мне. Одет плохо, как молодой. Весь какой-то забитый.

«Ара». Ты же слышал, с часовым он разговаривал: Сидоров уже «старик».

«Дембель». Я слышал, что он слепым в госпитале был, а теперь прозрел.

Сидоров. Я правда был слепым, потом очки прописали.

«Дембель». Слепому очки прописали. Как же ты ослеп?

Сидоров. Меня мой командир в карауле по голове автоматом ударил. Я сознание потерял, а когда очнулся, ничего уже не видел, только белое пятно.

«Дембель». А что дальше?

Сидоров. В госпитале полгода провалялся. Стал видеть, но очень плохо.

«Дембель». Почему не демобилизовали?

Сидоров. Не знаю. Обратно в часть отправили.

«Ара». Сейчас все служат. Служить в армию калек всяких берут. Даже с пороком сердца забирают.

«Дембель». За что взводный ударил?

Сидоров. Я на посту стоял. Он в парк на своей машине приехал, поставил на моей территории. Пока он по парку ходил, с его легковушки зеркала и подфарники сняли. Позволил меня, отобрал автомат и по голове им...

«Ара». Хорошо еще, не убил.

«Дембель». Дальше.

Сидоров. Я его не «застучал».

Седы х. Ну и зря. Сука твой комвзвода.

«Дембель». Не скажи. Нечего на посту спать.

Седы х. За это убивать?

«Л а п о т ь». Седой, сам-то за что человека убил?

«Дембель». Из-за таких, как он, китайцы целые заставки вырезали. Правильно он ему врезал: другие спать не будут. Дальше!

Сидоров. Все.

«Дембель». Как это все? Ты же говорил, что сюда за драку с офицером попал.

Сидоров. Когда в часть пришел, меня «старики» стали травить: с тумбочки не слезал, жрать не давали. В последний мой караул взводный вместе с нами пошел. Не меняли на посту две смены. Ногу отморозил.

«Дембель». Не меняли. Значит, некем было. Значит, кто-то из ребят заболел. Так?

Сидоров. Да, так. У одного острый приступ полиартрита был. С поста прямо в госпиталь увезли.

«Дембель». Дальше.

Сидоров. Когда сменили, я доложил, что ногу отморозил. Комвзвода засмеялся, а «старики» завели в сушилку, стали бить, а потом снова на пост... Я ушел с поста.

«Дембель». Куда?

Сидоров. Куда глаза глядят... Нашли. Били. Он тоже ударил. Я — его. Только его. Один раз.

«Дембель». И правильно били... Сколько было случаев, что такие, как ты, в ребят стреляли, а ребятам до дембеля оставалось совсем немного... В чем на посту стоял?

Сидоров. В сапогах.

«Дембель». Врешь. В валенках должен был стоять.

Сидоров. На все посты валенок в караулке не было.

«Дембель». Где отморозил? Покажи ногу. *(Закуривает. Сидоров задирает штанину).*

Сидоров. Здесь.

«Дембель». Здесь? *(Подносит сигарету к ноге Сидорова и прижигает место, на которое тот указал. Сидоров отдергивает ногу.)* Что дергаешься? Больно?

Сидоров. Не очень.

«Дембель». Больно! Врешь ты все, сука. Смотри! *(Снимает сапог со своей ноги, прижигает сигаретой свою ступню. Держит сигарету совершенно спокойно.)* У меня здесь нога была отморожена. Видишь — ткань мертвая, не чувствую я ничего!

«Ара». Хватит, Федор. Жареным мясом плохо пахнет.

«Дембель». Бегунок он. Служить не хочет! Наши ребята в Афгане погибают, а он бежит!.. Снимай штаны. Снимай! *(Бьет Сидорова).*

Седых. Эй, вторая! Вы что там?

«Ара». Все в порядке. Бегунка нашли.

«Дембель». Сделать гада!

Седых. Эй, часовой, смотри во вторуюю!

«Дед». Седой, не вмешивайся! Все правильно — закон армии: бегунков делают.

«Лапоть». Прапор, ты почему не вмешиваешься, где твоя командирская идеологическая подготовка?

«Прапор». Я сейчас живу по вашим законам — законам зоны.

Часовой Шулеров подходит к камере и заглядывает в глазок.

Шулеров. Эй, там, кончай!

«Дембель». Пошел ты, сынок. Молод еще мне указывать.

Шулеров. Я начкара позову!

«Дембель». Зови, щенок.

Седых. Часовой! Не бойся! Ты — на службе!

«Дед». Валера, брось. Бегунок этого не стоит.

Шулеров. Начкара! Срочно! *(Подбегает к решетке в конце коридора и кричит).*

Седых. Часовой — дурак. Не успеет начкара вызвать.

«Ара». Атас, «Дембель». Кто-то идет.

Входят Бабченко с Пискуновым.

Бабченко. Чего орешь?

Шулеров. Во второй солдата насилуют.

Бабченко. Хорошо. Разберемся. Но если они пили твою смену, тебе плохо будет. Понял? С начкаром буду бутылки искать... *(Подходит к камере № 2 и заглядывает в нее.)* Сейчас всех на прогулку. *(Открывает камеру № 1. Иванов и Седых выходят, прихватив с собой парашу).*

КАРТИНА ПЯТАЯ

Двор гауптвахты. По углам квадрата из натянутой колючей проволоки стоят часовые: Бурлюков, Постников, Чумаков и Пискунов. За проволокой стоят начкар и несколько солдат, которые заряжают автоматы перед сменой часовых. Во дворе, за проволокой, Седых и «Дед» умываются снегом.

Седых. Гражданин начальник, разрешите снег во дворе убрать.

Начкар. Ладно. Постников, дай им лопату и метлу.

Постников подает Седых лопату и метлу.

Седых (Постникову). Твоего слепого делают. Зачем болтал? *(Начинает убирать снег).*

Начкара. Бабченко, выпускай вторую!

Выходят Бабченко, «Дембель», «Ара» и Сидоров. «Дембель» с «Арой» умываются снегом. Сидоров начинает делать гимнастические упражнения. Бабченко подходит к начкару, рядом с которым стоит Роликов.

Бабченко. Товарищ капитан, часовой Шулеров доложил, что заключенного Сидорова пытались изнасиловать.

Начкара. То-то я смотрю: у него крыша поехала — физкультурой занялся! После прогулки разберемся.

Чумаков. В здоровом теле здоровый дух!

Сидоров снимает с себя шинель, подойдя к Постникову, и сбрасывает ее на проволоку, затем перепрыгивает через заграждение и бежит к забору.

Постников. Стой!

Начкара. Ложись!

Заключенные ложатся на землю.

Постников. Стой, стрелять буду!

Сидоров пытается перелезть через забор. Постников сам перепрыгивает через проволоку.

Начкара. Роликов, стреляй! *(Роликов медлит, снимая автомат с плеча.)* Отставить! Постникова заденешь! Чумаков! *(Чумаков дает очередь из автомата по забору. Постников и Сидоров падают на землю.)* В Постникова попал! *(Постников поднимается, подходит к Сидорову, поворачивает его лицом к себе.)*

Постников. Зачем? Я бы догнал его. *(Садится на землю).*

Во двор вбегает начальник гауптвахты. Вместе с начкаром подходят к Сидорову.

Нач. гауптвахты. Готов. Заключенных в камеры!

Бабченко. Встать! В камеры!

Заключенные поднимаются. Бабченко уводит их в камеры. Бурлюков подходит к Сидорову и накрывает его шинелью.

Нач. гауптвахты. Встать!

Постников. Пошел ты... (Отбрасывает автомат).
Нач. гауптвахты. Арестовать.

Начкар подбирает автомат Постникова, затем срывает с него погоны. Постников снимает свой ремень и отдает его Бурлюкову.

Нач. гауптвахты. За нарушение Устава Гарнизонной Караульной службы и оскорбление старшего по званию объявляю сержанту Постникову десять суток ареста. Увести. (Бурлюков *уводит* Постникова в камеру.) Караул, строиться! (Все *выстраиваются*.) Приказываю: до приезда следователя и военврача к телу не подходить. Службу нести так же бдительно. Сержанту Чумакову за решительные действия во время несения караульной службы объявляю благодарность.

Чумаков. Служу Советскому Союзу!

Бурлюков (Чумакову). Сука ты.

Нач. губы и начкар делают вид, что не слышали этой реплики.

Нач. гауптвахты. Буду ходатайствовать перед командованием о предоставлении младшему сержанту Чумакову краткосрочного отпуска на родину. Всех благодарю за службу!

Начкар, Бабченко, Чумаков и Пискунов. Служим Советскому Союзу!

Остальные молчат.

Нач. гауптвахты. Почему не дружно? Хотите еще на сутки остаться в карауле?.. Ладно, повторим. Личный состав караула благодарю за службу!

Все. Служим Советскому Союзу!

Нач. гауптвахты. Вяло! Вяло! Придется поднять ваш боевой дух. Караул, равняйся, смирно! Личный состав караула благодарю за службу!

Бабченко и Чумаков исподтишка лупят локтями и каблуками стоящих рядом «молодых».

Все (громко). Служим Советскому Союзу!

Занавес



Для маленьких читателей

Степан ТЕРСКИЙ

МНЕ БЫЛО ВОСЕМЬ ЛЕТ...

К 70-летию Белоцарского боя

Было мне тогда восемь лет. Жил я в городе Белоцарске... Это так говорилось тогда, что город, а был маленький поселок, домов около восьмидесяти, больше с плоскими крышами, а то и землянки да рабочие бараки. Но были и дома, по-тогдашнему городские, даже двухэтажные. В переселенческом управлении, например, на втором этаже размещались школа и небольшая библиотека, а в нижнем были служебные помещения. А напротив него стояла церковь, деревянная, двухкупольная, построенная наподобие собора. В ней, бывало, в дни царских праздников попы благословляли казацкие сотни, и начинались на площади перед церковью конные скачки и разные состязания. Мы, ребятня, прибегали на них смотреть...

Ох и горя нам потом, как постарше стали, принесли эти казаки!.. Ох и погуляли, посвистели их нагайки по спинам наших отцов!.. Мой отец, Григорий Терских, был депутатом первого в Туве Совета. Когда Совет разгромили, схватили отца, увезли, вместе с другими его товарищами, на плотах в Минусинск, в тюрьму. Помню, мать ходила к нему на свидание, подкупила одного казака, и нас, ребятшек, с собой брала. А потом мы не виделись до 1921 года. И в то время, которое сейчас опишу, как знал, как видел, рос я безотцовщиной.

Лето 1919 года было тревожное. Кто только не колесил тогда по тувинской земле! И колчаковские каратели, и монгольский оккупационный отряд... Разные военные группировки, и все пытались захватить обетованный Урянхайский край. Набеги на русские деревни, на кочевые аратские стоянки, с грабежами, убийствами, поджогами, стали, можно сказать, обычным делом. И жители Белоцарска, чтобы избежать погромов, выехали на правый берег Енисея. Часть разъехалась по деревням, а большинство, со скотом и имуществом, разбило палаточный городок на берегу Енисея, неподалеку от Кара-Хаака.

Когда начала подходить к нашим местам из Сибири многочисленная армия Кравченко и Щетинкина, богатеи вместе с охранной сотней казаков стали убежать, кто куда. Казачья сотня ушла в направлении Монголии, а буржуи здешние — кто в тайге укрылся со своим серебром да золотом, кто пытался перевалить Саяны. Русский правитель Урянхая, комиссар Временного правительства Турчанинов, чтобы не попасть в руки красных, отправился с целой свитой и с богатствами через Тоджу, но там, в тайге, был убит и ограблен своей же охраной.

Горожане в палаточном городке примерно за сутки узнали, что армия красных идет на Белоцарск. Немедленно все выехали обратно в город, но с правобережья переправиться удалось немногим. Для этого требовалось несколько дней. И уже на берегу образовался поселок из телег, палаток и единственного тогда на той стороне реки домика-зимовья, где и расположились люди в ожидании переправы.

День склонялся к вечеру, когда вдали поднялась пыль, потом показались верховые... Кто-то громко закричал:

— Красные едут!..

Все пососкакивали с мест и радостно бросились навстречу приближающейся армии. В первом ряду верховых легко узнали командиров — по оружию.

Мальчишки даже заспорили.

— Смотри-ка, Мишка, вон тот, чернявый, видно, не рус-

ский какой-то. Кажись, похож на кавказца, а тоже, видно, большй командир — с маузером и саблей... А какой же из них Щетинкин? — спросил Алешка Афанасьев.

— Наверное, вон тот, третий с краю в первом ряду: видишь, тужурка кожаная, фуражка военная, усыки... Похож на главного! — отвечал ему друг.

И верно. Поравнявшись с народом, тот самый командир, на котсрого указывал Мишка, выехал немного вперед и громко сказал:

— Здравствуйте, товарищи!

Все разногласо восторженно приветствовали.

— Откуда и куда переезжаете так многолюдно? — спросил командир.

Ему ответили, объяснили. Командир задумался.

— Да, товарищи, хоть и неприятно вам будет, но придется еще несколько дней побыть здесь, на берегу. Потому что все военные части и снаряжение, а также и раненые, котсрые у нас есть, должны переправиться без задержки, и все средства для переправы мы мобилизуем.

— Ну, что ж, если это надо, мы не возражаем, — раздалась из толпы несколько мужских голосов. Но слышались и голоса женщин:

— А где же мы будем печь хлеб? Здесь печей нет...

— С этим, дорогие товарищи, — ответил командир, — будем по мере надобности от семьи по одному пекарю переправлять до дому. В общем, все это по возможности устроим.

Для переправы в те времена был небольшой плашкоут. Передвигался он без каната, при помощи гребного колеса, которое вращали вручную. А по бокам, на бортах, ставили большие деревянные гребки, и сами переплывавшие люди вручную гребли, помогали. Плашкоут далеко сносило водой, и к месту причала, больше чем на версту кверху, каждый раз его заводили тросом на лошадях. Скот и лошадей переправляли вплавь, за лодками.

В городе армия заняла все казармы, казенные дома, квартиры белого начальства и дома богатеев. Но этого оказа-

лось мало. Тогда стали, на добровольных началах, размещать бойцов в частных домах. Все же большинство в маленьком городке не разместилось, да нужна была и крепкая продовольственная база. Значительная часть бойцов была направлена в Верхне-Никольское, так тогда назывался Бай-Хаак, там поместили и госпиталь. И там, и в самом городе организовали оружейные мастерские: делали гранаты, отливали пули, заряжали патроны. Нам, ребятам, все это было удивительно интересно, и если на что не удавалось поглядеть самим, рассказы сверстников и взрослых мы передавали друг другу.

Знали мы, например, что Манский полк еще во время похода был оставлен в Усинске и что командовал им Гусев. Знали, что отдельные полки и батальоны стоят в Туране, Верхне-Никольском и Знаменке (ныне Сарыг-Сеп), и что нужно это не только для того, чтобы продовольствием армию снабжать, но еще больше для охраны от контрреволюционных банд, «контры», а она пряталась по лесам, вредила. Вот Подхребтинский район, и это мы тоже знали от взрослых, был, в основном, населен бедными крестьянами, и много среди них было решительных людей. С приходом армии Щетинкина и Кравченко в нее вступили 500 подхребтинских — это значит тандинских — партизан под командованием Сергея Кочетова.

Бойцы в городе занимались строевой и боевой подготовкой, вооружались. По левому берегу Енисея, вниз на несколько верст рыли окопы оборонительной линии: предполагалось, что, рано или поздно, белые двинут сюда свою армию.

В штабе красных уже знали, что белые движутся на Белоцарск. Впереди шли кавалерийские казачьи сотни, следом конной тягой везли орудия. А обозным транспортом — снаряды в ящиках, лодки и другие средства для переправы, должно быть, отобранные по деревням в Саянах и близ Турана у крестьян. На подводах ехали мобилизованные крестьянские парни — новобранцы.

Во второй половине ночи с 28 на 29 августа белые тихо прошли правобережной стороной мимо Белоцарска. Направи-

лись в разложину, где теперь проходит тракт, и в восьми верстах ниже города вышли к берегу. Место это, удобное для переправы, должно быть, заранее выбрала их разведка. Русло Енисея там шириной не более 500—600 метров. На высоте белые расставили орудия, замаскировали их от пулеметного огня красных. На рассвете открыли сильный огонь.

Из орудий и пулеметов били беляки по левому берегу, по оборонной линии красных. Она проходила по открытому, ровному месту, окопы были траншейные, неглубокие.

Сила удара пришлась на линию обороны Манского полка. Накануне боя полк по трудной верховой тропе, по тайге и высоким горам, совершил поход из Усинска на Баян-Кол и, переплавившись, занял левый фланг.

После более чем трехчасового артиллерийского обстрела оборонительная линия красных была рассечена белыми. И, чтобы избежать больших потерь, красные отошли с открытой линии обороны. Потери Манского полка были незначительны, но он оказался отрезан от основных сил красных и отошел вниз по берегу. Связь его со штабом командования была прервана.

Белые, как рассказывали потом нам взрослые, в полной боевой готовности, с боеприпасами и пулеметами, под прикрытием усиленного артиллерийского огня, приступили к переправе. Лошади плыли за лодками. На берегу части белых быстро формировались и вступали в бой. Основной удар сосредоточили в направлении города. Параллельно наступлению, орудия передвигали по высокому берегу вверх; прямой стрельбы по позициям, однако, не вели из-за отдаленности орудий и сближения позиций противников. Бологов видел свое превосходство в силе, но учитывал, что выход в степной район, за пределы досягаемости орудийных выстрелов, может принести ему поражение.

Знали о превосходящей силе белых и красные. На длительный бой они не могли рассчитывать из-за расчленения армии, сказывался и недостаток вооружения и провианта. А потеря живой силы, понимали они, равна поражению: бое-

вых резервов не имелось, армия пополнялась только добровольцами. Но командующий вовсе не был таким простым и безграмотным, как это представлялось врагам. Потому и не удался белым план окружения красных.

Происходил Петр Ефимович Щетинкин из крестьян, из деревни Чурино на Рязанщине. Учиться ему и впрямь пришлось только две зимы, а дальше — столярничал с отцом да плстничал. Крепок был с малолетства, и все же отец, жалеючи, говорил, бывало: «Тебе бы, Петя, за книжками сидеть, а не бревна поднимать с мужиками». Способный был паренек, да что поделаешь — нужда.

Когда призвали Петра по жребию на действительную службу, выделялся он среди солдат прилежностью, чем, говорят, начальству приглянулся, вот его и направили в учебную команду. Тут-то все и пригодилось: твердый характер, острый ум, способности. Военную муштру с утра до вечера переносил Щетинкин легко, читать старался, что только мог достать, и все больше о русских полководцах. Суворовскую «Науку побеждать», можно сказать, наизусть знал. Закончил службу унтер-офицером. В деревню уехал, столярничал опять и плотничал, женился, — знали у нас даже, что на хорошей девушке, и имя называли — Васса Черепанова, и дети у них родились, малчик и девочка...

Интересно нам было все это слушать, узнавать, что главный красный командир — такой же, как наши отцы: и пахать-сеять мсжет, и избу поставить, и ребятишки его дома ждут...

Вот какой план боя предложил Щетинкин на коротком совещании штаба в Белоцарске: вывести все боевые части на юг, в подхребтинском направлении, и до вечера скрываться за увалами. Когда белые займут город, через местное население усиленно распространять сведения, будто красные ушли в Монголию. Самим же, за увалами, переформироваться и к вечеру начать наступление на гсрод. Окружить белых и столкнуть в реку. Предложение штабом было принято.

Натиск белых приняли на себя Тальский полк и несколь-

ко батальонов других полков. Героически отражали они атаки, пока не были выведены из города раненые, обозы и другие подразделения. Кавалерийскому эскадрону под командованием Сургуладзе — помните того «чернявого», «кавказца»? — было приказано немедленно выйти за пределы артиллерийского огня и идти на помощь Манскому полку, установить с ним связь, а после всем выходить в южном направлении. В степи эскадрон Сургуладзе наткнулся на конный разъезд белых. В перестрелке те потеряли несколько человек и отошли к берегу, к переправе. Эскадрон подошел к месту переправы белых, прорубил и утопил лодки. После этого была установлена связь с Манским полком.

С боем отступили красные до устья речки Тонмас-Суг и в полдень, под прикрытием леса и степных холмов, отошли за южные увалы. Две роты и эскадрон нарочно показывали белым форсированное отступление в направлении Монголии. Остальные войска отошли скрыто. Такой маневр дал возможность усыпить бдительность врага.

Этого мы, дети и взрослые жители города, сами, конечно, не видели. Позднее уже мне это рассказал красный партизан Р. Е. Тараканов, участник Белоцарского боя, он и сейчас живет в Кызыле.

...В избе Гришиных размещалось отделение красных пулеметчиков. Каждый день они налегке уходили на свои боевые занятия. Но однажды внезапно собрались с вещами. Хозяйка заподозрила недоброе. Спросила:

— Вы что, совсем уходите?

— Нет, хозяйюшка, вернемся: с выездом за город у нас сегодня занятия, — ответили ей.

Все же она рассказала соседям, и те тоже встревожились: а ну как белые войдут в город, заберут тогда лошадей, самих могут мобилизовать, да и плетей жди по спинам... Однако и хозяйку, и окружающих успокоил командир, сказал, чтобы все спокойно ложились спать.

С рассветом Гришина слышала раскаты грома. Вышла во двор, а небо чистое. Что за чудо? Туч не видно, а гром

гремит? Не могла понять. Побежала к соседям Сотниковым, там вышли во двор и мужчины. Присмотрелись к западной стороне, откуда были слышны «раскаты», и один из них, по имени Роман, сказал:

— Э-э, да это бой начался: из орудий стреляют.

Где укрыться от пуль и снарядов? В землянках? А у кого землянки нет? Решено было немедленно выехать за город, версты за три, в березовую рощу: там и лошадей, и телеги спрятать можно, и самим безопасно. Выехало семей двенадцать на телегах, с необходимым скарбом.

Часов до одиннадцати утра были слышны отдаленные орудийные выстрелы. Потом наступило затишье. Люди в роще открыто передвигались. Но в первом часу с правобережной сопки, где было установлено орудие, наблюдатели заметили в роще движение и приняли мирных людей за неприятеля. Открыли по роще артиллерийский обстрел, засвистели снаряды над головами, старый и малый в страхе разбежались по кустам и залегли, кто где мог. Стрельба продолжалась минут пятнадцать-двадцать, но в роще ни один снаряд не разорвался, все были перелеты. Стихло, было, но только люди начнут ходить — опять стреляют. И люди снова прячутся... Во втором часу обстрел прекратился: город находился в руках белых.

Но горожане-то в роще не знали, в чьих он руках. Возвращаться или нет? Как выяснить? Послать в разведку? Но кого? Вызвались идти... ребятишки.

Матери не хотели их отпускать, мужики тоже поначалу сомневались, но потом решили: дети и вправду не вызовут подозрений. Двенадцатилетний Афонька Наговицын, Ванька Сотников девяти лет и мой «годок», восьмилетний Степка Гришин, все лазейки в городе знали, если что — улепетнут. Мужики им наказали: спросит кто из белых про ваших отцов, вы, Афонька и Ванька, говорите, что от красных в тайгу убежали, а ты, Степка, скажи, что отец умер.

Только ушли ребята, в роще появились два верховых. Это были коноводы у тех пулеметчиков, что у Гришиных стояли, эстонец и русский. Тоже разведчики: узнать, чем бе-

лые в городе занимаются. Радостных вестей они людям не принесли, сказали только, что красные ушли из города и что скоро, возможно, снова будет бой. Потом и один из жителей, Бугаев, пришел, всех всполошил: белые взяли верх, надо уходить, от мобилизации скрываться!

«Разведчики» проникли в город свободно. Белые торжествовали победу: пели и плясали, пили вино из привезенных с собой бочек. Есаул Бологов телеграфировал в Минусинск о легкой победе: Белоцарск взят, остатки разбитых красных бежали в Монголию. Выбрали два дома — переселенческого управления и купца Радзубая, оба с балконами, там и гуляли.

Ребятишки-разведчики подошли к переселенческому управлению — слышат, гармошка играет, пляшут казаки. Пошли к дому Радзубая — тоже изнутри песни слышатся, на балконе несколько белых солдат между собой громко разговаривают. Тут заметил ребят казак, спросил:

— Эй вы, пацаны, чего здесь ходите? Не постреляли бы вас.

— Кому стрелять-то? Красные, говорят, в Монголию удрапали, — подал голос с балкона другой.

Казак опять спрашивает:

— Батьки-мамки ваши где?

Афонька ответил за всех:

— У меня и вот у Ваньки, — и показал на него пальцем, — в тайгу убежали, от красных прятаться. А у Степки отец умер. А мамки вон там, около сараев, в избах да в землянках у Гурковых от снарядов попрятались, когда стрельба была. Теперь не стреляют, вот мы и пошли посмотреть, что в городе снарядами разбило...

Потерял к ним казак всякий интерес, отвернулся, и наши разведчики живо побежали обратно, в рощу. Рассказали, что видели, что слышали. Мужики уж и так собирались убежать в тайгу, кто от мобилизации, кто от белогвардейских плетей. Подробно обо всем расспросили ребятишек коноводы, выслушали внимательно их ответы и тоже сразу уехали.

А белые, убедившись в своей победе, все основные войска ввели в котловину города и глубокой разведки не вели: ни одного их разъезда так и не появилось в роще.

Щетинкинцы же, убедив врага, что отступили и продолжают отступать до самой Монголии, укрылись с обозами в низменных местах, за увалами. День был солнечный, жаркий, раненых, да и всех бойцов томила жажда, вода была нужна и для пулеметов. Всех крестьян, которые ехали в город, задерживали и мобилизовали для доставки воды — издалека, с Малых Щел или из речки Серебрянки, и скрытно, чтобы не обнаружил враг. Во время пятичасового затишья шла перестройка и подготовка к новому сражению. В штаб были вызваны все командиры полков, батальонов и политработники, шел военный совет. Разрозненные подразделения необходимо было здесь, за увалами, объединить, сжать в единый кулак; к вечеру, в сумерки, полукольцом охватить город и сжимать его, пока белые не окажутся сброшенными в Енисей. Но для этого надо было знать, готовятся враги к обороне в случае внезапного контрнаступления красных или спокойно и торжествуют победу. Тут много дали доставленные разведчиками-коноводами и добытые нашими ребятишками сведения о казачьих плясках в городе.

...Солнце клонилось к вечеру, когда красные полки незаметно двинулись из-за увалов по направлению к городу. Белые опомнились, бросились занимать свою оборонительную линию. В центре сопротивление белых было мощным: там были сосредоточены казачьи и карательные части. А новобранцы на флангах не больно-то стремились драться: насильно мобилизованные, они готовы были повернуть оружие против белых. Офицеры были пьяны, это мешало им руководить боевыми действиями. Полукольцо красных сжималось и теснило врага к берегу. Правым флангом, где находились Манский и Тальский полки, командовал Кравченко. В восточной части города боевые цепи вышли на берег протоки Енисея. Тут из-под яра вышли с поднятыми руками больше двухсот новобранцев, сдались в плен. Красные стали занимать город.

Белые, прижатые к берегу Енисея, пытались его переплыть. Бежал, не дождавшись конца боя, и есаул Бологов. Кто не мог плавать, стаскивал в реку что-нибудь плавучее. Садились верхом на лошадей, на плаву хватались за лошадей по два-три человека. Но спастись удалось немногим.

К десяти часам вечера бой полностью прекратился.

Наступил новый день, настало время наводить порядок в городе. Место сражения было усеяно сотнями трупов. Страшно было ступить по берегу, того и гляди споткнешься о человеческое тело. Некоторых, лежавших далеко от реки, закапывали, других сбрасывали в Енисей.

Из трехтысячной армии белых в живых осталось не более пятисот. Триста с лишним из них, мобилизованные новобранцы, сдались в плен и пополнили партизанскую армию. Около ста пятидесяти офицеров-карателей, казаков, в их числе и Бологов, успели уйти.

Погибли и красные бойцы — тридцать семь человек. Помню, как торжественно хоронили их на берегу Енисея, дали ружейный салют; на большом деревянном щите были написаны их имена и стихи:

За Саянским хребтом, в Урянхайском краю,
за Советскую власть пали братья в бою...

Те из нас, кто умел читать, повторяли и другим передавали эти строки.

Сразу после боя на берегу собрали и из воды извлекли множество боеприпасов. Но еще долго мальчишки — наши сверстники и потом наши сыновья — находили то казацкую саблю, то штык от винтовки, то гранату...

А город наш стал называться Красным, потом — Кызылом.

□

ПОБАСЕНКИ ДЕДА ХООРЭЭРА

Кто из тувинских ребят не читал или не слышал коротких смешных рассказов старого охотника Хоорээра? Иные даже называют его тувинским Мюнхгаузенем... Но на русском языке из всего множества этих рассказов напечатаны только четырнадцать. И те давно, уже двадцать лет назад, в десятом выпуске альманаха «Улуг-Хем».

Здесь вы прочтете, ребята, еще шесть из этих рассказов. Или, если хотите их так называть, побасенок.

ПОДСТИЛКА ИЗ КОЗЛИНОЙ ШКУРЫ

Был я тогда, дружок, совсем молодым. Только начинал охотиться. Зато мой дядя был охотник удачливый... Хочешь, расскажу про одну его «удачу»?

Было это зимой.

— Совсем обносилась, истерлась моя подстилка из козлиной шкуры, племянничек, — говорит мне дядя. — Лучшая подстилка — из шкуры козла, убитого зимой, получается. Ну что, пойдём? Помог бы мне хоть мясо дотащить.

Я дяде никогда не отказывал. Договорились мы с ним поохотиться в лесочке возле устья реки. Не все же лазить по хребтам и перевалам.

Шли долго, и ни один зверь нам на глаза не попадался. Однако следов было много, словно отара прошла. Нашли какую-то тропу, идем по ней... Впереди что-то затрещало. Дядя прислушался и с радостным видом сообщил мне шепотом:

— Там у меня петля. Кажется, в нее маралуха угадала — слышишь, как бунтует? Повезло нам, племяш. Теперь знай только тащи мясо, сколько унесешь. Да еще и припрядем, потом вернемся, заберем. И подстилка еще лучше козлиной получится, из маральей-то шкуры.

Мы осторожно начали приближаться. Нет, не маралуха — козел в петлю попал. Задохнуться уже успел, лежал пластом.

Дядя мой уже о маралухе размечтался. Поморщился, будто и не на козла мы с ним охотиться собирались:

— Я уж, было, обрадовался... И как только этот козел попал сюда? Что делать, давай возвращаться, не ночевать же здесь в такой мороз! Тащи его ты, а я не желаю иметь дело с шелудивым козлом.

Разве я мог послушаться? Вынул козла из петли и поволок его по гладкому льду реки.

— Шелудивый твой козел никуда не уйдет. Оставь его, покурим,— слышу дядин голос.

Сели, закурили, поболтали о том, о сем. Вдруг слышим топот. Обернулись — только и успели заметить, как скрылся за деревьями наш козел.

— Аа халак, аа халак! Беда, беда!— застонал мой дядя. Кулаком даже себе по голове стучать стал.— Зачем же я его от петли-то освободил? Аа халак, какое вкусное мясо ушло, какая теплая шкура убежала!..— и на меня:— Ты-то куда глядел, растяпа?..

Человек должен уметь постоять за себя. Я и сказал:

— Кто же знал, дядя, что он может ожить? Да ты сам обзывал этого козла шелудивым. Что мне было о нем сильно-то заботиться? Я ведь не знал, что у него такое вкусное мясо и такая теплая шкура, как ты сейчас сказал... И вообще, что хорошего — промышлять петлями и самострелами?..

Дядя промолчал. До самого аала не проронил больше ни слова.

Вот так, дружок. Языком дерева не срубишь.

ЖИВОЙ МЕШОК

Как только осень наступает и подходит пора белковать, не сидится мне дома, не лежится. Вся душа моя уже в тайге. Перед тем, как отправиться туда надолго, езжу, по обыкновению, как бы на разведку — узнать, где в этом году больше белки.

И прежде всего проверяю леса Башкы-Адыра. Первый снежок выпадет, пройдет пара дней, на открытых местах он

растает, а в глухомани останется лежать. По следам на том неглубоком снегу определяю: белка нынче есть.

Вот и пошел я так однажды на Башкы-Адыр. Чем дальше в лес, тем больше белок смиренно сидело на нижних ветках деревьев, дунмам, братец ты мой.... Поехал еще дальше — совсем был удивлен: вороны обычно так ведут себя, где сидут — там и черным-черно. И серые белки так сидели, правду тебе говорю, на каждой веточке: подняли пушистые хвосты и шишки шелушат. Отломил я сучок и бросил в них. Они по деревьям — вниз, к речке. Бегу за ними, не отставая. Тут я увидел: все они кинулись в дупло сухого дерева, примерно, в три человеческих обхвата. Я подождал, пока они все залезут в дыру. Подошел затем к сухостюю, приложил ухо и стал слушать: внутри стоял невероятный шум — пчелиный улей, и только...

Думаю, что же мне делать? Вспомнил, что к седлу у меня приторочен большой мешок. Снял его, привязал к отверстию дупла. Затем нашел крепкую толстую ветку — колотушку. Залез я на вершину этого стометрового дерева, отдышался и давай бить колотушкой по стволу, спускаясь сверху вниз.

Не дойдя до середины сухостоя, посмотрел на свой мешок: он так и ходил ходуном. До краев полон! Я прекратил стучать и шустро спустился вниз. Быстро отвязал мешок и тут же его завязал. А внутри сухостоя белки все еще шумели, не знаю уж, сколько сотен их там осталось. И в мешке сотни три все же было...

Да, но что теперь делать с белками в мешке? Убивать по одной и обдирать шкурки? Нехорошо... Задохнуться они сами не могли: мешковина была редкая, пропускала воздух.

Тут меня осенило: есть же место, где их принимают живыми! Надо их доставить туда. Пусть размножаются там, где нет подобной живности...

Так я поехал со своим «живым» мешком, минок. А оставшиеся в лесу, в дупле, белки за несколько дней никуда не убегут. Сидишь — удачи нет, лежишь — счастья нет, верно?

БЕСКОНЕЧНЫЙ ЗАРОД

Смолоду я все батрачил на богачей, дружок. А они будто и не видели, что батраки есть хотят, устать могут. Если все делать, чего хотели они, то от нас остались бы четыре конечности, а потом и в могилку бы полегли раньше времени.

Только люди с изворотливым умом могли как-то вывернуться. И я тоже был хитер, потому и цел остался.

Однажды наш ненасытный бай велел заготовить для своего неисчислимого скота по четыре зарода сена каждому батраку. Я посреди леса на поляне застоговал один большой зарод и решил сдать его богачу.

— Указ ваш выполнен в точности, повелитель!— доложил ему.

— Врешь, однако, недостойный?

— Как я могу обманывать вас!— уверял я.

И повел я за собой толстеного своего господина. Вначале подвел его с южной стороны леса.

— Ничего зарод поставил. А где остальные?— спрашивает он.

Я повел бая обратно и подвел к зароду уже с другой стороны. Посмотрел он на зарод и снова похвалил меня. Когда я в третий раз подвел его к зароду, он сказал:

— Это хороший зарод, даже больше двух первых. Где же, парень, четвертый?

В четвертый раз я подвел своего глупого повелителя к зароду, все тому же, с четвертой стороны. Тут он воскликнул:

— Паа, это уже настоящий зарод! Работающий ты парень, оказывается. Я подарю тебе валушка, так и быть. Будет тебе мясо!

Так я обхитрил глупого бая. И валушка, разумеется, тоже забрал у него.

ТРЕВОЖНЫЙ БУБЕН

Эх, дружок, всяко в жизни бывает. Где-то кто-то что-то сболтнет, а другие подхватят — и пошло-поехало. Да так слухи поднесут, что сам начнешь верить.

Стояла середина августа. Не знаю, где он родился, но пошел среди людей странный слух. И в дорогу-то под этот слух ехать как-то даже боязно.

— В ту ночь бубен слышался вон на том хребте!..

— А сегодня утром во-он на той сопке!..

И конца этим разговорам нет. Подтверждали их даже те, кто никогда в жизни не обманывал. Вот и пойми, что к чему.

А было это уже после Народной революции. В один из вечеров приехал ко мне председатель арбана-десятидворки и предложил:

— Хоорээр, положи конец этим разговорам. Если это действительно так, то поймай этого смутьяна, который будоражит людей, и приведи к нам...

Было бы только сказано, и я поехал исполнять задание нашего председателя. Проехал по тем местам, где в последний раз слышали звуки бубна, но никого не обнаружил. Просидел всю ночь — ничего. Под утро досадовать начал: кто-то утку пустил, а остальные подхватили ее — вот и все.

Вдруг я сам услышал бубен. Он загредел дважды недалеко от оврага, где я устроился в засаде, в лесу меж двух сопок. Человек я бесстрашный, однако вздрогнул, голову сжало, словно обручем, волосы дыбом встали, сынок! Я не на охоту шел, поэтому ружье оставил в юрте. Пока я приходил в себя, из того лесочка выскочил кто-то большеголовый и направился в мою сторону. Но тут я не растерялся: собрал аркан в правой руке и, когда странное животное пробежало мимо, кинул петлю. Сам знаешь, я почти не промахиваюсь: аркан затянулся на самой шее...

Я с трудом остановил зверя и увидел перед собой... кого бы ты думал? — козла с бубном на рогах! Я глазам своим не верил, но было именно так. Я привел злосчастного козла к председателю арбана. Тут собралось много народу, не верят мне, дескать, я сам надел ему на рога бубен.

— Как же так получилось?

— А вернее всего, вот как. В июле-августе козлы передними ногами роют землю, рогами трутся о молодые деревца.

Тот козел воткнул свои рога в висевший где-то бубен — видно, старое шаманское погребение в том лесу было, — а он так и остался на рогах. Когда козел пробирался в чаще, бубен, конечно, издавал звуки.

А сколько было ложных слухов! «Длинный подол в ногах путается, длинный язык самого опутает»...

ЧЕРЕЗ РАЗЛИВШУЮСЯ РЕКУ

Чуть было не забыл, дунмам... Ты видел речку Кожай, когда она разольется?

В обычное время в Кожае воды немного, в глубоких местах до колен не достает, верно, парень? А какая чистая! Прямо как ртутное серебро. И шум такой нежный, ласкающий. А в половодье... Кажется, само небо расстелилось по земле. Какая стремительная вода! Все сметает с пути, будь то глыба, будь гора.

Издавека я возвращался домой. А у переправы народ толпится. В то время ни о какой технике и речи не шло. Люди горевали, но при виде меня все как-то воспрянули духом. Окружили меня:

— Мудрый Хоорээр, дорогой Хоорээр! Все ты можешь, спаси нас, сделай так, чтобы мы оказались на той стороне!

Я, как мог, успокоил людей и стал прохаживаться вдоль реки. Нигде не было подходящей переправы. Думаю, думаю... Люди крепко положились на меня. Были среди них и такие, кто в обычное время не прочь посмеяться надо мной — а тут и они готовы на меня молиться! Решил я им показать, кто таков на самом деле Хоорээр, и вот все думаю и думаю.

На глаза мне попала на берегу средней толщины берега. Напротив нее, уже с другой стороны разбушевавшейся реки, стоял зарод сена. В голову мне пришла рискованная мысль.

— Кто из вас умеет хорошо плавать? — спросил я у толпы.

— Я! — и из толпы вышел высокий парень.

Я объяснил ему свою затею. А пловец, дескать, нужен на тот случай, если упадет в воду. Он с радостью согласился первым оказаться на том берегу столь необычным образом.

Нагнув гибкую березу до отказа, я усадил смельчака верхом на нее и отпустил. Выпрямляясь, береза выстрелила парнем: тот, словно птица, перелетел через реку и приземлился сбоку большого стога сена на другом берегу. Толпа загудела: «Теперь меня! Меня!..»

Таким образом я переправил на ту сторону всех! Видишь, как полезно быть находчивым. Иначе сколько бы времени они просидели там впроголодь? Жаждающий — достигнет, ищущий — найдет.

НА ТРЕХ МАШИНАХ СРАЗУ

Хорошо живем: техники полно. Однако некоторые молодые люди ничего не жалеют...

Позавчера был я далеко отсюда, парень, и возвращался домой. Туда ехал на попутной машине. Обрато шел пешком. Надеялся, что меня по дороге кто-нибудь нагонит, а пока плелся на своих двоих. Наконец, услышал позади себя невероятный шум. Оглянулся — пыль столбом, до неба. Отступил с дороги, смотрю с обочины. Оно прямо ко мне приближается. Поравнялось — из пыли что-то возникло. Осела пыль — вижу перед собой три машины, груженные мешками с зерном! И как только они друг на друга не наехали... Остановились все три, однако же. Открылись кабины, три парня дружно окликнули меня:

— Э-эй, дед Хоорээр, садись, подвезем. Чего тебе пешком в такую даль тащиться!..

У всех уже были пассажиры, поэтому я сел в кузов первой машины.

Все три дружно рванули с места. Да так, что я отлетел к заднему борту. Ты, парень, знаешь наши дороги: яма на яме, то грязь, то камни. То влево бросит, то вправо, то вверх подкинет — всю душу вымотала ихняя езда! Замучился я,

хотел спрыгнуть — куда, на такой-то скорости! Закричал бы, да разве шофер услышит мой крик!..

И вдруг меня так подбросило вверх, что искры из глаз посыпались. И оказался я... в кузове второй машины. Сажу и думаю: как же я сюда попал? А в руках у меня — мешок с пшеницей. С той, передней, машины. Видно, крепко я вцепился в него, когда «взлетал»!

Негоже держаться за один мешок, подумал я. Одной рукой за этот держусь, другой — во второй вцепился. Жизнь-то дорога, верно?

В передней машине нет в кузове одного мешка, нет и пассажира, думаю про себя. И тут снова тряхнуло, да пуще прежнего. И оказался я в кузове третьей, последней, машины. Ни на миг не расстался с теми двумя мешками: сидим, обнявшись, словно братья. Одно и хорошо: падать на мешки с зерном мягко.

Только теперь додумался я, почему, поднявшись ввысь, как бы позади очутился. Так быстро машины ехали, что пока я с одной падал, следующая как раз попевала.

Ты пойми, парень, это же каким крепким надо быть человеку! С другим бы давно разрыв сердца приключился. Или руки-ноги поломались бы...

Уж не знаю, что и со мной было бы, если б еще раз так тряхнуло. Да, на мое счастье, въехали мы уже в село. Парни остановили машины, выскочили из кабин. Увидели: нет на передней пассажира — испугались. Поглядели на последнюю — а пассажир, вон он, покуривает себе, и мешков в кузове, вроде бы, прибавилось. Удивились, слова вымолвить не могут, только глазенки посверкивают.

Ох и отругал я их, милоч, за такое лихачество!..

□

С а т и р а и ю м о р

Вячеслав ТИМОФЕЕВ

К ВОПРОСУ О ТАРАКАНЬИХ БЕГАХ

(Рассказ)

Стояла глубокая осень.

Однажды сидел я за рабочим столом и размышлял над вычитанной где-то фразой, которая звучала так: «Живем только раз, но зато каждый день», а голова моя в это время клонилась к столу. Я никак не мог понять, почему эта незатейливая в общем-то фраза не дает мне покоя и почему моя голова беспрестанно тянется к столу.

Над этими размышлениями и застал меня непосредственный мой начальник, и, конечно же, напрямик спросил:

— Года идут, а счастья в перспективе не предвидится, не правда ли?

Мой начальник являл собой образец такого же бездельника, каким считал меня, поэтому я оставил без внимания его так называемую шутку и тоже напрямик спросил:

— Вы никогда не занимались самоанализом?

Он несколько замешкался и сказал:

— В принципе, представьте, не занимался.

— А я, представьте, занимаюсь каждодневно. В данный момент я размышляю над фразой «Живем только раз, но зато каждый день» и примериваю эту фразу на себя. И, понимаете ли, ни к какому выводу не могу прийти.

— Что вы хотите этим сказать?

— То, что в данный момент я нахожусь под гнусным влиянием размытого барического поля, которое зависло над Кызылом. И зависло, по-моему, надолго. Поэтому от меня невозможно ожидать никаких выводов, решений и действий.

— Барическое поле... В первый раз слышу.

— Жаль. Газеты надо читать. Хотя бы через день. Если вы их будете читать регулярно, то наверняка поймете мое мерзкое состояние. Заодно почувствуете, почему оно мерзкое.

— Вы изъясняетесь, честное слово, какими-то загадками.

— Никаких загадок. Барическое поле зависает осенью. Глубокой осенью. И в этот период на человека нападает такая апатия, какую не пожелаешь даже злейшему врагу. Скулы от тоски, понимаете, скрипят.

— А вы можете в нескольких словах обрисовать это состояние?

— Могу. Когда, например, ожидается погода первого типа, я чувствую себя более или менее сносно. Если же надвигается погодный режим усиленного медицинского контроля, то есть третий тип, то у меня все валится из рук, в голове — абсолютная пустота и ни единой мысли, кроме одной — как бы побольше вздремнуть. А когда намечается четвертый, самый противный тип, впору лезть на стену. Но нет сил.

— В чем выражается это... э-э... четвертое состояние?

— Не четвертое состояние, а состояние человека при четвертом типе погоды, — поправил я его. — Оно выражается в крайнем нежелании вставать утром с постели, томительной и беспрестанной зевоте, непреодолимой вялости и невыносимом отвращении к любой работе. Я чувствую, что такое состояние надвигается. Должно быть, сказывается осеннее недомогание. Это у меня наблюдается каждый год.

— Мне кажется, недомогание не покидало вас и летом, — вспомнил начальник.

— Совершенно с вами согласен. То было летнее недомогание. Весьма, между прочим, противное явление.

— А весной? Вас тогда муха цеце, что ли, укусила? Из-за вашей нераспорядительности, помнится, мы весной завалили кварталный план.

— Во-первых, план мы завалили не только по моей вине, а из-за общей неразберихи и коллективного головотяпства, — достойно возразил я. — Во-вторых, в том квартале я страдал весенним недомоганием. Оно, я вам скажу, намного хуже осеннего.

— Почему?

— Потому что весной над Кызылом зависает барический градиент. Вместе с ним приходят бури, циклоны, антициклоны... В такой свистопляске, сами понимаете, совсем не просто уцелеть. В период барического градиента многих уносят ногами вперед. Вам, наверное, не нужно объяснять, в какую сторону их уносят?

— Не нужно... Весной, в самом деле, я частенько хандрил.

— Вот, вот,— сказал я,— еще две-три таких весны, и, как говорится,— вперед ногами. Вам, вероятно не стоит напоминать, до какого километра несут?

— Не стоит... А в чем выражается состояние при этом... э-э... барическом градиенте?

— Оно выражается в крайнем нежелании вставать утром с постели, томительной и беспрестанной зевоте, непреодолимой вялости, невыносимом отвращении к любой работе...

— То есть те же ощущения, что и при четвертом типе?

— Хуже. При градиенте категорически запрещается волноваться, особенно — делать приседания. Читать рекомендуется только лежа, ходить — вальяжным шагом при попутном ветре, и то лишь до аптеки. И ни в коем случае нельзя думать о квартальных и тем более годовых планах.

— О чем же думать?

— Об отвлеченном. О том, например, кто сильнее: муравей или слон. Либо, скажем, о том, можно ли босиком ходить по Луне. Не вредно также порассуждать, почему до сих пор ни одна обезьяна не превратилась в человека. Короче говоря, тем для размышлений — тьма.

— Какой же смысл думать обо всей этой чепухе?

— Для кого-то, возможно, чепуха, а популярный журнал «Медицину — в каждый дом» утверждает обратное. Этот журнал предлагает заниматься вольными умственными упражнениями с раннего утра до позднего вечера. Народному хозяйству от таких упражнений, конечно, пользы никакой, зато невероятно возрастают интеллектуальные способности личности. Я же полагаю так: вряд ли мне придется ходить по Луне босиком или же отгадать, кто через девяносто лет станет чемпионом мира по домино. Но думать об этом мне не запретит ни одно правительство. Отвлеченные мысли помогают мне успешно бороться с межсезонным недомоганием.

— Час от часу не легче: и межсезонное недомогание бывает?

— Еще какое!

— Симптомы те же?

— Симптомы следующие: крайнее нежелание вставать утром с постели, томительная и беспрестанная зевота, непреодолимая вялость, невыносимое отвращение к любой работе...

— Значит, те же.

— Не только. Поскольку ноябрь в народе нарекли самым хмурым месяцем, декабрь с полным правом можно назвать

сумерками года. Мрачные сумерки, представляете? Иными словами — закат, мрак. Закат всего: флоры, фауны, человеческого организма... Значит, нужно утроить бдительность и опасаться всего. Телевизор рекомендуется смотреть только лежа, ходить — утиным шагом до хлебного магазина, работу — забросить. Иначе тот же финал — вперед ногами.

...Теперь об отвлеченном мы размышляем вдвоем: я и мой начальник. Я, например, с утра до вечера пытаюсь вычислить, в каком веке и кто смастерил первую русскую балалайку. По предварительным прикидкам, в марте будущего года мы отметим 448-летие этого исконно народного инструмента. Но цифра требует уточнений, на что, полагаю, уйдет не меньше года. Начальник сообщил, что он шестую неделю размышляет о влиянии тараканьих бегов на колебания земной коры, и перелопатил на данную тему гору литературы.

Нас успокаивает, что мы не одиноки. Оглянитесь вокруг: разве годами думающих об отвлеченном только двое? Мы бесстрастны, уравновешенны, нам хорошо: оклад идет, премиальные — нет, производительность равна нулю, но мы себе запретили даже думать о производительности. Главное, мы мыслим. Следовательно, существуем!..

ТРИ МЕШКА РУКОПИСИ

(Юмористический рассказ)

В выходной день житель города Закутовска Тютюнник шел по улице походкой ловеласа и увидел автобус с табличкой. На табличке разными шрифтами и большими буквами было написано: «Автобус изготовлен из металлолома, собранного пионерами города Закутовска».

— Липа это! — возмутился Тютюнник и от негодования остановился. — Шурупы изготовили из этого металлолома, а не автобус. Самолично изготовлял!..

Прервав воскресную прогулку, Тютюнник злой походкой вернулся домой и написал жалобу в журнал «Оранжевые ребята» о том, что в городе Закутовске взрослые бессовестно обманывают детей как пионерского, так и октябрятского возрастов.

Написал и задумался: «А ведь несерьезно получится, если такое коротенькое письмо на одном листке пошлю — не поверят они там. Несолидный, скажут, гражданин. Добавлю-

ка, что я ударник предыдущей пятилетки, двенадцать лет являюсь членом профсоюзного комитета, в течение последних шести лет не брал в рот ни капли спиртного, за исключением конечно, праздников и выходных. А еще скажу, что мой производственный стаж составляет двадцать восемь лет. Тогда обязательно поверят — некуда им деться».

И описал, как он всего этого добился. И дни, когда ему, несчастному горемыке, приходилось невыносимо тяжело, описал. Расчувствовался, смахнул рукавом непрошенную слезу — и на тридцати листках рассказал о своем беспризорном и босоногом детстве. И закончил повествование словами: «Да здравствует мир для детей!»

Журнал «Оранжевые ребята», подумав три с половиной месяца, ответил:

«Уважаемый товарищ Тютюнник!

Ваш рассказ мы прочитали с большим интересом. Местами он производит неплохое впечатление, в нем есть любопытные детали и живость описания нескольких сцен. В частности, вам удалась картина, в которой вы тайком от бабки полезли в погреб за сметаной, после чего коза по кличке Заноза нечаянно захлопнула рогами люк, и вы куковали в подземелье трое суток рядом с кувшином из-под сметаны. Эти и некоторые детали свидетельствуют о кое-каких потенциальных возможностях автора. Однако говорить о вашей творческой зрелости в целом было бы преждевременно. Об этом можно судить хотя бы по следующему: если в рассказе концовка откровенно слаба, то начало ни с чем не вяжется. Вспомните ваши первые строки про шурупы, изготовленные из металлолома. Вы утверждаете, что из металлолома автобус сделать нельзя, а можно делать только шурупы, что в корне неверно.

Поэтому можно сказать, что вы не овладели мастерством рассказчика и недостаточно знаете технологию изготовления различных агрегатов и деталей. Следовательно, вам надо много работать над собой, учиться и учиться. И побольше наблюдательности! А со временем, мы надеемся, вы сможете прислать нам что-нибудь подходящее. Пишите. С приветом и пожеланиями творческих успехов литсотрудник журнала «Оранжевые ребята» М. Беркович».

Ответ из журнала Тютюнник прочитал в семейном кругу вслух.

— Раз просит человек — пиши, — сказала теща Тютюнику. — Мою жизнь опиши: они там всем журналом реветь будут.

Тютюнный описал жизнь тещи, а заодно и жены. Рукопись отослал в папке-скоросшивателе. После долгих соображений на папке написал: «Повесть».

Журнал «Оранжевые ребята» долго не отвечал. Тютюнный тем временем, описав жизнь кума Дмитрия и соседей по подъезду, взялся за биографии жильцов пятиэтажки, стоящей напротив его дома. А потом как-то само собой получилось, что он переключился на жителей села Кульково, которое располагалось в пяти километрах от города. В том селе проживал дремучий дед, чья родословная брала начало еще с тех времен, когда мирянами правил небезызвестный царь Горох. Разные поколения сей достославной семьи пережили и нашествие Мамаю, и красавые феодальные междоусобицы, и дикие крепостные нравы, и русско-турецкую войну и многое другое. Все это вошло в рукопись, и на первой ее странице Тютюнный, к тому времени досконально изучивший литературные жанры по учебникам, старательно вывел: «История жизни со многими подробностями. Роман. Книга первая».

Для рукописи рюкзака не хватило — отослал в мешке. Правда, в отделении связи против мешка стали возражать, но Тютюнный зычно осадил их, представившись летописцем отечества, и женщины сразу же сдались, поскольку живого летописца видели впервые.

А Тютюнный сел писать вторую книгу.

Он уже написал третью и приступил к четвертой, а ответа из журнала все не было. «Значит, изучают,— думал автор отечественных записок.— Или, может, уже набирают».

...Шел четвертый год с того дня, когда Тютюнный уволился с работы и начал излагать историю жизни. А ответа из «Оранжевых ребят» все не было.

Однажды, когда Тютюнный заканчивал восьмую главу шестой книги, в комнату, сопя и пыхтя, вошел радостный сынишка Кондратий. Он тащил тяжелую книгу, рот его растянулся до ушей:

— Папуля! Про тебя напечатали!

На обложке фолианта, который весил килограмма четыре, сверкающей бронзой было оттиснуто: «Книга изготовлена из макулатуры, отправленной товарищем Тютюнным в журнал «Оранжевые ребята».

□

«ЗДРАВСТВУЙ, МИЛАЯ...»

(Письма в никуда)

I.

Сегодня снова седьмое. Уже месяц, как я в больнице, а от тебя до сих пор нет писем.

Желтые листья печально шуршат под ногами в больничном сквере. Я брожу по аллеям и ношу в себе тревожное чувство ожидания. Ты уехала стремительно и бесшабашно, и рядом со мной, когда я иду, звенит пугающая пустота. Раньше это место занимала ты...

Помнишь, мы шли по осеннему парку, и вокруг стояла прозрачная тишина. А желтые листья падали и падали. И светило солнце. И мир был бесконечный, а небо голубое и гулкое. И, казалось, этому не будет конца.

Я вдыхаю острый запах осени. У осени привкус твоего прощального поцелуя через решетку аэродромного палисадника. В нем прощание и встреча — одновременно.

Надежда и любовь живут рядом. И я буду любить тебя. Мне достаточно знать, что ты есть на белом свете. Пусть не со мной, но все-таки есть. А это главное. Заходящее солнце. Багряное небо, золотая листва под ногами и мысли о тебе: наверное, это и есть счастье...

А это — посвящение тебе, милая.

ТА СТРАНА

От заката весь мир золотой.
Что ж мне делать с тобой на закате?
Что мне делать с крылатой такой
При таком неудачном раскладе?

Силой вряд ли тебя усмиришь.
Ну так что ж,
Поступай, как желаешь.
И крылами взмахнув, полетишь
Ты в страну, о которой не знаешь.

А народ в той стране, видит бог,
Из любви состоит и протеста.
Ты взойдешь на высокий порог
Ослепительно юной невестой.

Всех затмишь красотой своей.
Все от страсти к тебе онемеют.
И сведешь ты с ума всех людей.
И все люди в стране заболеют.

Будут думать: ну что за напасть
На страну снизошла и откуда?
Этой женщине разум украсть
Подсказал, не иначе, Иуда.

Забросают камнями тебя.
Разорвут твоё юное тело.
Видит бог, я тебе не судья.
В ту страну — ты сама полетела.

II.

Мысли о тебе — это мысли о боли, которая живет во мне. Никогда не думал, что боль может быть так мучительна. Чтобы не прислушиваться к ней, играю с соседом по палате — Артуром — в шахматы. Артур дважды судим. В общей сложности находился в заключении 17 лет. С восемнадцатилетнего возраста. Мы с ним часто сидим в сквере. Иногда он рассказывает невероятные вещи о своем прошлом. И мне кажется, что это правда. Страшная правда жизни.

Артур снимает очки.

— Ты знаешь, что такое зона? — близоруко спрашивает он и, чуть помедлив, сам же ствечает: — Никто не знает! Раньше я тоже не знал. Зона — это бездна. Это скопище душ. Одни наделены правами, другие бесправные. Но те и другие — больные души, падшие души. Их уже не спасти. Их разъела тьма. Они взяли друг у друга все, что есть в человеке темного, дурного, гадкого. И меня уже не спасти, потому что я тоже ощутил алчную власть тьмы. Бездна поглощает свет. Свет не живет в бездне.

С чего начинается зона? — Артур трет очки носовым платком. — Как театр начинается с вешалки — зона начинается с колючей проволоки. И душа становится колючей у того, кто идет в зону. А кто идет в зону? Тот, кто хочет самоутвердиться, кто хочет унижить. Зона дает власть. Реальную, осязаемую власть над душами. Чувствуешь: слаб и подл душонкой — иди в зону. И все комплексы уйдут. Ты забудешь о них, когда будешь наслаждаться, упиваться властью. Ты из безликости станешь личностью. Из убогости — богом. Вот так и шагают в бездну...

Артур еще что-то говорит, но я его уже не слышу. Я

думаю о тебе. А листья падают и падают. Они желтые-желтые. Горькие листья нашей осени.

БЕЗДНА

Шагнул я в бездну.
Там кишели души.
Их приоткрыли тьма
И тихий ужас.

Во тьме кричала
Падшая душа,
В себе неся
Безжалостную муку.
Она ходила
Чаркою по кругу.
И вот пошла
По лезвию ножа.

Я в ужасе
Попятился к стене.
— Зажгите свет,—
Я крикнул бестолково.
И прозвучало
Руганью то слово,
Но свет зажегся
Все-таки во тьме.

И, заслонив лицо
Рукой от света,
Во тьму метнулись
Души от ответа.

И лишь душа,
Что падшею была,
От боли или света
Ожила.
Она стояла, юная, нагая,
И улыбалась,
Боль невозможная.

Окончен сон.
Вскочил я ошалело.
Я все забыл.
И лишь душа болела.

III.

Пишу тебе. И кажется, пишу в никуда. Но я знаю, что ты есть: и во мне, и там — за рыжим осенним поворотом на другой стороне реки. Но только далеко-далеко...

Сидим с Артуром в сквере. Тихо падают листья.

— Первое впечатление, когда попадаешь в зону,— мрач-

ное,— вспоминает Артур,— все дышит враждебной неизвестностью. Все нереально, как во сне. Масса народа, и все в черном. Черный цвет давит. Такое ощущение, как будто присутствуешь на похоронах собственной души. И везде преследует лозунг: «На свободу — с чистой совестью». Мы привыкли считать, что совесть определяется, как чувство нравственной ответственности за свое поведение. Забывая о том, что зона диктует свое, особое, поведение...

В нашей зоне был общак — общий котел. И каждый был обязан вносить туда деньги. Кто сколько мог. Эти деньги шли на подкуп администрации, на помощь тем, кто оказался в штрафном изоляторе или помещении камерного типа. Игровые — те, кто играет в карты,— тоже вносят в общак определенный процент от выигрыша. Обычно в зоне играют в двух случаях: или для удовольствия, или для наживы. В основном, конечно, для наживы. Главное в картах — это память. Нужно помнить, какие карты ушли, какие остались. И нужно иметь характер. Выигрышные карты, бывает, держишь, а могут припугнуть, надавить на психику. И тогда, кто послабее, теряет ориентацию, перестает контролировать игру. Таких «грузят», и они попадают в зависимость. Если не уплатил — тебя могут пнуть, оскорбить. Игры в зоне начинаются снизу, где играют на диету, на ларек, на 5—10 рублей, и кончаются верхом, где акулы ворочают уже тысячами.

В зоне живут группами-семьями, по 3—5 человек. В семье все общее: деньги, вещи, интересы.

В нашей зоне был вор в законе — Моряк. При нем в бригадах путёвые бригадиры были, которых мы сами выбирали, а не администрация назначала. Бригадиры беспокоились, чтоб план шел, чтоб не прессовали членов бригады или в штрафной изолятор не закрывали, чтоб кого-то раньше срока отпускали по льготам. Я считаю, что в зоне есть справедливость. Пусть жестокая, но есть. Просто каждого она ставит на свое строго определенное место, которое он заслуживает.

Я слушаю Артура. И мне кажется, что он сумасшедший. Сумасшедший из бездны. По ночам он стонет и всхлипывает.

ПОЛОВИНА

В усмешке губы вспенив,
Он фикса обнажил.
И лагерной системе
Полжизни подарил.

Другую половину
Унес в глухую тьму.
И долго-долго выла
Собака вслед ему...

IV.

Твое письмо получил. Горькое для меня письмо. Значит, ты сделала выбор. Значит, у меня остается осень, боль и одиночество. Больница — моя зона. Зона одиночества и боли. Не знаю, что со мной произошло, но я отношусь к тебе чутче, мягче, добрее. Я пытаюсь понять: ты справедлива или жестока? Где проходит граница между добром и злом?

В палату зашел Артур.

— Сидел сейчас в сквере и вспомнил забавный случай. Попал к нам в зону крупный начальник. Он же не из нашей среды. У него все было: дача, машина, положение, женщины. А он решил, что мало. Начал взятки брать. Так вот. Посылают его в столовую картошку чистить. Он видит — хлеб на столе лежит. Схватил его и в карман. А за спиной повар-мордворот:

— Шо, голодный?

Берет повар ковш. Из котла горячий-горячий суп черпает и к лицу подносит:

— На, ешь!

Деваться некуда, стал, обжигаясь, пить. После со рта и губ кожа сошла — наелся досыта... Вот такое отношение к таким было. Он потом сыну письмо написал: «Сынок, не вздумай брать ни у кого ни рубля. Ты просто не представляешь, что такое зона...» Наша система его на честный путь поставила, представляешь?

Или вот еще. Были у нас двое: Решка и Журавль. Все администрации наушничали. Поймали мы их. Говорим: «Раздавайтесь». Они ни в какую. Тогда Журавлю врезали. Упал. Привели в чувство. Врезали еще раз. Потом еще. В конце концов согласился отдаться. А Решка видит, что Журавля бьют, сам штаны снял. После они прекрасно себя чувствовали, как будто с малых лет этим занимались.

Если бы Журавль выдержал мордобитие, с ним мы ничего не сделали бы. Мы тоже видим, если духа хватает. Убить мы его не убили бы, потому что кому охота срок получать? Никому! А если духа не хватает — зачем пакостить? Вот за это они и получили. Считаешь, жестоко? Зато справедливо!

Я лежу и молчу. Меня знобит. По крыше стучит холодный осенний дождь...

ЛОГИКА

— Почему же ты убил?

— Потому что он debil.

От debила б дети были —

Все равно б его убили...

V.

Перечитал твое письмо. Перечитал и как будто с тобой поговорил. Только грустный разговор у нас получился. Но все равно теплее стало на душе.

Сегодня по телевизору показывали клевый фильм.

— Любой в зоне, — усмехается Артур, — болеет за положительного героя, когда смотрит фильм. Даже если герой этот — «мусор». А в жизни все по-другому. Со стороны на себя смотришь и думаешь: никогда бы такую подлость не смог совершить, а ведь совершаешь. Я до сих пор не могу понять, как убийство у меня вышло. Помню, когда освободился после первого срока, у меня в душе столько злобы скопилось, что найдись в тот момент человек, который мной руководил бы, я стал бы первоклассным исполнителем. Хотя и не люблю, когда мной командуют.

У меня одно стремление было: занять деньги. Много денег. Понял, что деньги — это все. Они обладают могучей силой. Зона стала для меня своеобразной школой. Одним словом, когда я вышел на свободу, то в душе уже был «домушник» ярый. И начались кражи. Те кражи и до сих пор не раскрыты. Но лучше бы я сел за них, чем за такое преступление, за которое потом на 15 лет устроился.

СНИТСЯ

Молотком по голове.
Знал — маячит «вышка».
Да светилось на вдове
Знатно золотишко.

Тусклый взгляд
И липкий лоб.
И ногами снится:
Закалывают гроб,
А он шевелится...

VI.

Думаю о тебе. Живу тобой. А писем нет. Сегодня целый день идет дождь. За окном серо и холодно.

— С самого детства у меня была тяга к музыке и танцам, — рассказывает Артур, — родители очень музыкальными были. На сцене я с 16 лет начал выступать. Это время самым светлым для души было. Наши концерты и по телевидению показывали. Несмотря на молодость, я вскоре солистом в ансамбле стал. Когда домой приезжал после гастролей, мои

старикки с такой радостью меня встречали. Они у меня маленькие. Я их, как детей, приподниму, и они счастьем светятся.

Тяга к танцам и песням у меня и в зоне осталась. Раньше кто не выбивал чечеточку — жиганским парнем не считали. Сейчас мало кто может чечетку выбить, а вот песни любят.

Я в Сухуми воровал немало,
А в Батуми заложили гады.
...Ехтур-мехтур, выйду на свободу,
Посажу друзей на хлеб и воду.

Обычно собирается равный круг. Кто-то берет гитару. И тоска уходит. Прошлое забывается... Старость, она всегда из прошлого приходит, — неожиданно закончил Артур.

МОНОЛОГ МОЛОДОГО ВОРА

Опять подъем по распорядку дня.
Кричу:
— Начальник, что за беспорядки?
Мне «чифирнуть» бы, сидя у огня,
Заместо вашей вшивой физзарядки.

Я сталинские песни заучил.
Своих пока, к несчастью, не имею.
В семидесятых суд меня судил,
Проверьте, кстати, тоже — за идею.

Вторая ходка числится за мной.
Семья махнула: мол, совсем пропащий.
И я опять рискую головой,
Встречаясь со статьей неподходящей.

Я трусов с детства видеть не могу.
При виде их мучительно бледнею.
Давай, родной, рвани про Колыму.
От этой вещи я душой балдею.

Начальнички, чего вы там лопочете:
Про долг, любовь и честное житье?
Ведь вы же сами честно жить не хотите.
Вас купит всех советское ворье.

Рви струны, кореш.
Жизнь — сплошной авось.
Недаром мы — фартовые ребята.
А ты, начальник, ПВР¹ свой брось.
У нас с тобою разная зарплата.

¹ ПВР — политико-воспитательная работа.

VII.

Простуженно светит солнце. Оно уже не греет прозрачный воздух. Он, может быть, потому и прозрачен, что в нем уже не осталось тепла. Ветер гонит желтые листья по дорожкам сквера. Санитарка в застиранном халате несет в зеленых ведрах обед. Из-под крышек вырывается густой белый пар, который тут же растворяется в прозрачном воздухе. Воздух вбирает тепло. Душа человеческая вбирает добро и любовь.

— Каждый хочет любить, — рассуждает Артур. Он встает с кровати и подходит к окну. Смотрит, как санитарка пытается ногой открыть входную дверь. И когда той удается наконец это сделать, продолжает: — Была любовь и у меня. Она секретарем на суде была. Я ее там первый раз и увидел. Она как будто меня загипнотизировала, отключила от той тяжести, которая должна была на меня лечь. И мысли мои на суде совсем не о деле были. Прокурор говорит: «Вы только посмотрите — он еще и улыбается».

А она смотрит на меня и как будто все понимает. Она потом и в зону первая написала: если что нужно — я все вышлю. Но разве я мог попросить хоть что-нибудь у нее? Я не придумывал красивых слов. Я просто писал. Делился своими обидами и переживаниями.

А кончилось все неожиданно и прозаично — она вышла замуж. И я вновь оказался один в гулкой бездне с ее волчьими законами. А не так давно познакомился с женщиной. Красивая. Гордая. Мужа из-за меня бросила. А теперь живет в страхе, что я ее брошу. И мне нравится ее унижение. Любовь — бездна, такая же, как и зона. А вечного ничего нет. Даже в бездне...

Я возразил Артуру. Есть вечное. Не вечен страх и все, что держится на страхе. А вечное — это добро. И еще любовь. Настоящая любовь.

ТУПИК

Налево — тупик.
И направо — тупик.
От бетонной стены
Рикошетит крик.

Направо — стена.
И налево — стена.
Ну вот наконец
И пришла тишина.

Ну вот наконец
Мне все блага даны:
Вот нары, вот стол,
Вот судьба у стены.

Метровые стены
И серый рассвет.
На десять, а может быть,
Тысячу лет.

Свинцовая капля
Летит с потолка.
И точит бетон
Моего тупика.

VIII.

Мое теперешнее отношение к тебе? Я чувствую в душе какой-то теплый комочек. Доверчивый и глупый. Это и есть ты. Мне иногда страшно, что вдруг я умру и не успею рассказать тебе о том счастье, которое живет во мне для тебя.

«Знай, что бы ни случилось в жизни нашей, ты — моя надежда и опора», — это твои слова. Мне этого достаточно. Достаточно знать, что я смогу помочь тебе. Верю в тебя. Люблю тебя. А писем нет...

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Скорая помощь по городу мчится,
Словно большая белая птица.

В каплях дождя ветровое стекло.
А на рассвете сладко так спится.
В белом халате судьба постучится.
Сколько ж воды с той поры утекло?

Ты прибежала на берег реки.
С визгом навстречу летела собака.
Тихо лицо проступало из мрака,
И по воде расходились круги.

Каждый по кругу пошел своему.
Каждый вину свою выбрал защитой.
Чистой водою речною омыто,
Все погрузилось в житейскую тьму.

Кругом от встречи идет голова.
Боже ты мой, как же ты изменилась!
Сколько же лет ты ногами мне снилась
И все шептала все те же слова?

Рано ли, поздно судьбу изменять?
Есть в нашей встрече что-то такое...
Скорая помощь — сердце больное.
Больно, уже обретая, терять.

Скорая помощь — ты вышла нескорой.
Мчалась по кругу за болью годами,
Но опоздало заветное слово.
И вот уже вечность стоит между нами.

Снова круги разошлись по воде.
Скорая помощь — не помощь судьбе.

IX.

Не хотел думать о тебе, но мысли наталкиваются. Ты — магнит. Я не могу преодолеть твое притяжение. А Артур? Его притягивает бездна. Он знал, как жить в бездне, и не знает, как жить сейчас. Для него мир до сих пор вывернут наизнанку. Он живет в своем измерении. По своим законам. Двигается по своей орбите. Для него тьма, как солнце. У него есть деньги, которые он закопал в сарае. У него есть женщина, которая его любит. У него есть все. И нет ничего. Он нищий. Поэтому что счастье для него — это когда все есть...

БЛАГОДАТЬ

Летели дни наискосок,
Как будто стая птиц.
И оседала пыль дорог
На смуглой коже лиц.

Мы шли туда, где благодать
Сияла вдалеке.
Ее с земли нам не достать,
Лишь пустота в руке.

Мы шли и шли.
За лесом — лес
Вздыхался впереди.
Стволы стояли до небес,
Что свету не пройти.

Мы свято верили в успех.
И год, и два, и три,
Мы лезли по стволам наверх,
Все дальше от земли.

Достигли мы таких высот —
Земли аж не видать.
Рукой уперлись в неба свод,
Но... выше благодать.

Х.

Сегодня не смог встать — боль придавила к постели. Сил нет. Живу днем, который далек, как встреча с тобой. Моя жизнь, как маятник: ночь — день, день — ночь. Сейчас ночь. В палате мертвая тишина. Все спят. Не спит только боль, которая живет во мне, гулко отдаваясь в сердце. Говорят, что у боли нет цвета и вкуса. Есть цвет. И есть вкус. Она — горько-черная. За черным окном — черный мир. Только окно сдерживает черноту. Если открыть окно — в палату хлынет холодный мрак. Если убить совесть — в душу хлынет черная злоба. И тогда душа станет черной, как ночь. И тогда черный мир рухнет под собственной тяжестью. А мертвых китов прибьет к берегу безверия. И мы пройдем мимо Веры, Надежды, Любви. И уйдем в ночь. А следы на песке смоем черная волна нашего равнодушия.

Артура выписали утром. Он ушел. И в окно заглянуло солнце и заплескалось на стенах палаты.

Скоро зима. Что ждет меня?

НЕЛЮБИМЫЙ

Нелюбимый — жуткий холод в мире.
Воет за окном ночным метель.
Нелюбимый ходит по квартире
И садится на твою постель.

Он в глаза заглядывает знобко.
От тебя любви с надеждой ждет.
Но бесследно, словно сон короткий,
Эту встречу время унесет.

Нелюбимый ищет твои губы.
На изгиб бедра ладонь легла.
Нелюбимый — он совсем не грубый,
Лишь как ты — не знающий тепла.

Сигаретный дым струится сизый.
Ах, о чем, ей-богу, говорить.
Ветер снег с оконного карниза
Смел,
Чтоб вновь карниз запорошить...

ХІ.

Завтра операция. Но я начинаю письмо, которое обязательно продолжу:

«Здравствуй, милая...»



П а м я т н ы е д а т ы

Степану Петровичу ЩИПАЧЕВУ исполнилось бы нынче 90 лет.

Он родился на Урале, в семье крестьянина. Был батраком, рабочим, красноармейцем. В 1923 году вышел первый сборник стихов Степана Щипачева «По курганам веков», затем — «Под небом Родины моей», «Лирика», «Домик в Шушенском», «Песнь о Москве», многие другие сборники стихов и поэм и повесть о детстве «Березовый сок». Стихи его насыщены гражданскими мотивами, философским раздумьем, интересом к внутреннему миру человека, к природе. Наибольшей популярностью пользуются стихи-миниатюры о дружбе, о любви, о женщине, о смысле жизни.

85 лет Михаилу Маркеловичу СКУРАТОВУ.

Родом из Иркутской области, он окончил университет в Москве, с 1921 года начал печататься в Иркутске и Новосибирске. Сборники его стихов «Сибирская родословная», «Родня», «Всполохи», «На рубеже времени», «Истоки», «Родовые черты», «Рунный ход», «Сол-

В декабре 1942 года Степан Петрович приезжал в Туву, написал цикл стихов — «Улуг-Хем», «Хургулук», «Депутатка»:

Как цветы синих гор и степей,
я слова о тебе собирал.

Поэту посвятили свои стихи С. Сарыг-оол, С. Пюрбю, Б. Ховенмей. Он был настоящим другом тувинской литературы, возглавлял тувинскую секцию национальной комиссии СП СССР, выступал на декаде в Москве в 1974 году. Степан Щипачев остался в нашей благодарной памяти как прекрасный поэт и нравственно чистый человек.

нечный бубен», «Кружевная метель» хорошо известны читателям.

Скуратов — певец Сибири, старой и новой, хорошо знает своих героев, их особенную сибирскую закуску и говор, любовно чувствует и передает своеобразие природы. Много переводит тувинских поэтов — С. Сарыг-оола, С. Пюрбю, Ю. Кюнзегеша, других, выступает

на обсуждениях произведений туvinской литературы в Союзе писателей РСФСР.

Мне досталось в удел,
видно, песни рожать...

60-летие **Кызыл-Эника Кыргызовича КУДАЖИ** отмечает туvinская литература.

В местности Ийи-Тал теперешне-го Улуг-Хемского района в семье арата родился он 13 декабря 1929 года.

Учитель по образованию, еще совсем молодым перешел на журналистскую работу в детской и молодежной печати, затем — на радио и телевидении. Был редактором газет «Тываның аныяктары» и «Шын». С 1978 года — председатель правления Союза писателей Туvinской АССР. Делегат ряда съездов писателей РСФСР и СССР.

Писать Кызыл-Эник Кыргызович начал с 1948 года. Через десять лет вышла первая книжка его стихов — «Первый шаг», за ней последовали «Клятва друзей», «Просторы Родины моей» и, после двенадцатилетнего перерыва, в 1982 году — «Завязи». С середины 60-х годов начала издаваться проза Ку-

Петь про Русь я б хотел,
про сибирскую статью.

Здоровья и творчества желают кровному сибиряку и хорошему поэту туvinские собратья.

дажи — «Тихий уголок» в 1965 году, «Хлеб» в 1967, «Высокие облака» в 1971, «Улуг-Хем неугомонный» — в 1973—1974, «Поющий родник» в 1983, затем — «Дунзаа», «Таежные дары». Выходят его книги в Москве и Новосибирске. На сцене театра поставлены его пьесы «Проделки Долумы» (1970 г.), «Одиннадцать» (1972), «Саянская русалка» (1974), «Инчек» (1976), «Феликс Кон» (1977).

Заслуженный, а затем — народный писатель Туvinской АССР, лауреат премии Союза писателей РСФСР, член ревизионных комиссий Союзов писателей РСФСР и СССР, член Советского Комитета солидарности со странами Азии и Африки, Кызыл-Эник Кыргызович ведет большую общественную работу. Журналистские и писательские дороги приводили его в Монголию, Венгрию, Швейцарию, Италию, Индию, Сингапур, Малайзию, Пакистан.

* * *

Правление Союза писателей Туvinской АССР, редколлегия альманаха «Улуг-Хем» сердечно поздравляют и горячо приветствуют наших юбиляров Михаила Маркеловича Скуратова, Кызыл-Эника Кыргызовича Кудаж и желают им здоровья, счастья и новых творческих удач!

□

Содержание

СТИХИ

<i>Сергей Пюрбю</i> . Признание. Ленинская правда. Переводы <i>А. Емельянова</i>	3
<i>Любовь Батурина</i> . Верил, Родина, тебе!	6
<i>Юрий Вотяков</i> . Поле Куликово	7
<i>Людмила Санчай</i> . Правда и ложь. Крылья. В отчаянье	8

ПРОЗА

<i>Михаил Пахомов</i> . Враги (Из повести «Верность»)	11
<i>Аркадий Захаров</i> . Родословная (Повесть. Журнальный вариант)	21
<i>Петр Босенко</i> . Одна сотая процента (Повесть. Журнальный вариант)	42
<i>Вячеслав Бузыкаев</i> . Крещендо колоколов. (Ночной диалог с Дьяволом)	64
<i>Суван Шангыроол</i> . Айланмаа. (Из повести «Я верю в людей»)	71

СТИХИ

<i>Монгуш Кенин-Лопсан</i> . Планета Тува. Перевод <i>А. Емельянова</i>	86
<i>Александр Даржай</i> . Поссорились мои друзья. Перевод <i>Е. Антуфьева</i>	87
<i>Инна Дубникова</i> . Две синие птицы. «Снова звон колокольный снится...» «Расцвели фонари» «Предчувствие ветра...» «Я плакать буду...» «Посмотри — сквозь меня видно речку и луг...»	88
<i>Комбу Бижек</i> . В отблесках огня. «Войлочное стадо белых юрт» Переводы <i>В. Гордеева</i>	91
<i>Николай Куулар</i> . Белоснежный стригунок. Хам-Дыт. «Я сына привез на родимый чазаг...» Переводы <i>В. Гордеева</i>	92
<i>Эмма Цаллагова</i> . Рождение души. Над бездной расставанья	95

<i>Галина Принцева</i> . Мгновения	96
<i>Чургуй-оол Доржу</i> . «Судьба моя, сегодня ты сурова...» «На закате родаюсь...» Переводы <i>Г. Принцевой</i>	98
<i>Владимир Кан-оол</i> . Над людскою глушью. Повторное кино	99

ДРАМАТУРГИЯ

<i>Кондратий Емельянов</i> . Гауптвахта. (Сцены из армейской жизни)	101
---	-----

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

<i>Степан Терский</i> . Мне было восемь лет... К 70-летию Белоцарско- го боя	135
<i>Монгуш Олчей-оол</i> . Побасенки деда Хоорээра. Перевод <i>М. Хада- ханэ</i>	146

САТИРА И ЮМОР

<i>Вячеслав Тимофеев</i> . К вопросу о тараканьих бегах. (Рассказ). Три мешка рукописи (Юмористический рассказ)	154
<i>Евгений Антуфьев</i> . «Здравствуй, милая...» (Письма в никуда)	160
Памятные даты	171

На 1 стр. обложки
слайд фотохудожника
А. Л. Фурманова.
На 2, 3 стр. обложки
графические работы
И. П. Туренко.

УЛУГ-ХЕМ № 25

Литературно-
художественный
альманах

Художественный редактор

М. Ч. Чооду.

Технический редактор

А. А. Чернова.

Корректор

А. С. Казанцева.

Сдано в набор 25.01.89. Подписано
к печати 27.03.89. ТС 00080. Формат
60×84¹/₁₆. Бумага тип. № 1. Гарни-
тура школьная. Печать высокая. Физ.
печ. л. 11. Усл. печ. л. 10, 23. Усл.
кр.-оттисков 10,63. Уч.-изд. л. 10,08.
Цена 70 коп. Тираж 2000 экз. Заказ
378. ТП 1989 г.

Тувинское книжное издательство,
667000 Кызыл, ул. Щетинкина и
Кравченко, 57.

Типография Госкомиздата Тувинской
АССР, 667000 Кызыл, ул. Щетинки-
на и Кравченко, 1.

70 коп.

КЫЗЫЛ

ТУВИНСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО